

Р. ГОРДИН

РАССКАЗЫ О ЗАЙКИНЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КАРПА МОЛДОВЕНЯСКО»
КИШИНЕВ · 1964

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Слово о герое этой книги	3
Стенка	5
По миру	8
Обвал	12
Бурлацкой тропой	16
"Ступай в силачи..."	21
Дебют	26
На пристани	33
"Король" - на лопатках	38
В людях	42
Большому кораблю - большое плаванье	48
К "дяде Ване"	53
Чемпион мира	58
Море начинается в небе	62
Прием Александра Куприна	74
В Париж!	84
Назвался груздем - полезай в кузов	96
Близок локоть, да не укусишь	105
"Взятие Бастилии"	115
Домой!	127
Король шутов	137
Роковой полёт	150
Геркулес Фарнезский	160
За океаном	163
Выигрыш Керли	168
Ветер странствий	172
"К черту Америку!"	182
"Я - русский!"	189
Цепи эмигранта	196
Два гиганта	206
Воскресший Заикин	222
В день, наполненный солнцем	230
Последние годы	245

Слово о герое этой книги

...Неширокая улица. Она пролегла в нижней части Кишинева, где некогда лепились кварталы городской бедноты. Старожилы помнят ее прежнее название: Каменоломная.

Ныне здесь новые таблички, новые надписи на номерных знаках домов: улица Заикина. А вот и небольшой серый особнячок. В его стену врезана мемориальная мраморная доска: "Здесь жил... И. М. Заикин..."

Это был человек удивительной судьбы. Крестьянский сын, волгарь, шагавший бурлацкой тропой, вышел на арену мирового спорта, стал гордостью России. О феноменальной, богатырской силе Заикина слагались легенды: в день своего бенефиса он взвалил на плечи двадцатипятипудовый якорь и под звуки оркестра проделал с ним полный круг по арене. Здание цирка содрогнулось, когда атлет сбросил якорь. Он вязал узлы из полосового железа, рвал цепи, гнул рельсы, ломал телеграфные столбы...

О популярности Заикина свидетельствует и такое: долгие годы в провинции то там, то сям объявлялись самозванные заикины. Наконец этих лже-заикиных развелось так много, что подлинный Заикин вынужден был время от времени печатать в газетах разоблачительные объявления, защищая честь своего имени.

За рубежом у Ивана Заикина фактически не было соперников. Он совершал турне по городам Старого и Нового света, не ведав горечи поражения.

Этот волжский самородок стоял у колыбели русской авиации. Вместе с Уточкинским, Мациевичем, Ефимовым, Поповым, Васильевым, Россинским он прокладывал в небе России первые трассы, совершал на хрупких "этажерках" полеты, поражавшие современников своей дерзновенностью.

Тесная дружба связывала Заикина со многими замечательными сынами нашей Родины - Горьким и Алексеем Толстым, Куприным и Шаляпиным, Поддубным и поэтом-авиатором Василием Каменским. Архив Заикина хранит десятки писем его выдающихся современников, отдавших дань уважения русскому богатырю, сотни газетных и журнальных вырезок, фотографий, мемуарных материалов, свидетельствующих о поистине вселенской популярности Ивана Михайловича Заикина.

При работе над книгой автор использовал архив И. М. Заикина, находящийся в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве,

материалы Госархива Молдавской ССР, воспоминания современников русского атлета, книги по истории русского цирка и отечественной авиации, комплекты дореволюционных журналов "Воздухоплаватель", "Вестник воздухоплавания", "Аэро- и автомобильная жизнь" и других. Особый интерес представила стенограмма воспоминаний самого И. М. Заикина "На заре авиации", хранящаяся в ЦГАЛИ, хотя, заметим, в ней содержится ряд фактических неточностей. (Известно, что Заикин диктовал свои воспоминания исключительно по памяти). Многие документы архивов по-настоящему еще не перелистаны, не прочитаны, к ним еще не раз будут возвращаться исследователи. И тогда наверняка откроются новые, интересные страницы беспокойной, бурной жизни Заикина, оставшиеся за бортом этой книги.

Стенка

Дед Зиновий хворал. Он лежал на полатах - огромный, грузный, казалось, сильный даже в болезни - и надрывно кашлял.

Откашлявшись, он свесил седую лохматую голову и спросил:

- Михайла-то где?

- Где ему быть: опять на ярмарке колобродит, а дома жрать нечего, - зло ответила старуха, хлопотавшая подле печи.

- А Ванятка?

- Тут. Куда ему деваться?

- Пушай его, - пробормотал дед. - Придет время - уgomонится.

- Как же, уgomонится он, шалопут. Хоть бы деньги домой приносил, - брюзжала старуха. - А то ведь из трактиров не вылазит.

- Разве ж без выпивки заработаешь? - оживился Зиновий. - Выпивка, она кураж дает, силу прибавляет.

- Будто ты пил, леший, когда всю слободу вверх дном ставил?

- Да, отжили мы свое, - гудел дед с полатей. - Теперь пусть сыны покажут, какова есть наша удаль заикинская.

Была еще крепка изба Заикиных. Стояла она на самом отшибе деревни Верхнее Талызино. Лепились с ней по соседству еще два-три двора голи перекатной, у которой по загнеткам гулял ветер, а в избе хоть шаром покати.

Пока крепок был Зиновий, кое-как держалось хозяйство. Промышлял он извозом, нанимался баржи тянуть с разным товаром. И, бывало, на спор с проезжими купцами на потеху бурлацкой ватаге один удерживал тяжелую расшиву на месте. Была бы сила, а заработать целковый всегда можно. Заработать почестному: впрячься в бурлацкую лямку либо таскать на горбу пятипудовые мешки с мукой иль зерном на ближней пристани.

Михайла Заикин выдался весь в отца своего, Зиновия: такой же плотный, дюжий, словно литой. И Ванятка, младший в роду, тоже был богатырского покроя: широк в кости, велик и мускулист.

В деревне Заикиных и уважали, и побаивались.

На масленицу (или на Ильин день), когда все село наливалось хмелем, когда от буйного веселья ходуном ходили избы и деревенские проулки становились игрищем, семья Заикиных выходила за околицу.

Здесь, на утоптанном скотиной выгоне, собиралась, почитай, вся деревня. Дед Зиновий вступал на круг, поводил плечами и гремел:

- А ну, давай, выходи на потеху! Ставь стенку! Кто супротив нас выстоит, тому штоф водки.

- Куда нам с тобой один на один тягаться? - выкрикивал кто-нибудь из толпы. - Этого мы не можем. Ты вот со своими супротив нашей слободы постой - у твоих-то силы достанет...

Зиновий в раздумье почесывал переносицу и затем соглашался.

- Хоша и против слободы постоим! - задорно выкрикивал он.

Летели наземь шапки, кушаки, армяки. Бабы и девки испуганно расступались. И начиналась великая потеха, после которой иных бойцов уносили замертво. Сначала вперед выходили мальчишки. Они ершились, как воробьи. И, как воробьи, наскакивали друг на друга, сучили кулачками, катались по земле, сопя и с трудом сдерживая слезы.

Взрослые топтались тут же в ожидании своей очереди и подбадривали мальчишек.

- Петь, а Петь! Пусти ему юшку!

- Под микитки его, пушай знает!

- Он кусает - и ты кусай!

Казалось, воздух становился гуще от маленькой мальчишеской злобы, подогревавшей большую, добродушную, но все-таки сильную мужицкую злость. И вот вслед за мальчишками лихо сшибались бойцы. Руки молотили по спинам, сплетались в судорожной хватке, рвали ворота посконных рубах.

В центре, словно скала, высился Зиновий. На нем обычно повисали человек пять-шесть. Но, не удержавшись, валились плашмя, сшибая других.

- Ого-го-го! - гоготал Зиновий. - А ты не бойсь, еще пробуй!

Его кряжистых отпрысков поначалу вовсе не видно было в

свалке. И лишь потом вокруг них образовывались пустоты. Заикинские кулаки пробивали широкие коридоры в рядах бойцов.

Так бились дотемна. Бабы, охая, уводили пострадавших. Разбитые носы в счет не шли.

Потом подбирали одежду и, прикладывая сырые тряпицы к синякам, шли по улицам в обнимку, похваляясь, горланя песни. Обиды не было.

Слободские щупали мускулы на руках у Зиновия, Михайлы и даже маленького Ванятки и уважительно говорили:

- Железо! Богатырский корень! Супротив вас нам никак не устоять.

Так полунищая деревня волгарей веселила душу, давая выход силам, дремавшим в ожидании большого дела.

По миру

Михайла Заикин и впрямь колобродил на ярмарке. Неделя шла за неделей, а он словно и думать забыл о родном доме, о детишках. Знал, что земляки не оставят их в беде.

Было в ту пору Ванятке Заикину двенадцать лет. Не по годам рос он крепким и рослым, не по годам нес на своих еще детских плечах нелегкую ношу кормильца. Помогала ему сестра Алена. Она была постарше Вани, да только одно слово-девчонка! Вот брат и верховодил ею.

Ворочался на печи дед Зиновий, таял на глазах. Госка такая, хоть плачь. Занимали ржицы у соседей. Те давали, сколько могли, да ведь тоже нище жили. И скоро Ванятка и Алена пошли по Талызину, собирая Христа ради. Бедна деревня - много не выпросишь.

- Надо в Заплатово идти, - говорит сестре Ваня, - может, пасти наймемся. Там ведь богатей живут.

Ранним весенним утром, когда плакали сосны прозрачными слезами сосулек, роняя на талый снег иглы и ледышки, Ваня и Алена шагали по грязному проселку в Подвалье.

Лапотки облепила густая, вязкая глина, идти было тяжело, а присесть некуда: кругом куда ни глянь- тяжелые, сырые поля с плешинами талого снега. Пришли к обеду. Когда брели деревенской улицей, навстречу попалась ватага мальчишек.

- Эй вы, голопузые! Откель идете? - подступил один.

- Талызинские мы, - хмуро бросил Ваня.

- Ну, коль талызинские, так вам Самару показать надобно. Покажем, ребята, а?

Озорники двинулись к Ванятке, желая, видно, ему первому показать Самару. Один было уж и руки протянул...

- А ну, не балуй, - спокойно сказал Ваня и толкнул его, казалось, легонько. Тот, хоть и был на полголовы выше, кубарем покатился и шлепнулся прямо в грязь.

- Наших бьют! - пронзительно крикнул один из мальчишек, тот, который сулил показать Самару, верно, коновод. И с кулаками бросился на Ваню.

Мальчишек было шестеро. Они наускаивали на Ваню и Алену, как петухи. Грязные, злые, взлохмаченные, они упрямо лезли и лезли к талызинским странникам, не понимая, что происходит. А Ванятка спокойно, неторопливо снова и снова швырял на землю одного за другим.

Шли мимо мужики. Остановились поглядеть на потеху. Один из них - степенный, бородатый, одетый чище и богаче других - шагнул вперед и махнул рукой:

- Ну, будя!

- А чего он дерется? - глотая слезы, выдавил коновод. - Как таперича я домой пойду? - и он беспомощно развел руками, как бы говоря: вот, посмотрите, каков я, что теперь мне дома-то будет.

- А ты не лезь, - рассудительно сказал мужик, пряча усмешку в бороде. - Небось, первый привязался. Ведь я тебя, Федька, знаю. А ты, паря, отколь? - повернулся он к Ване. - Ишь, какой молодец-то!

- Талызинские мы, дяденька. Вот, наниматься в люди пришли.

- А чей будешь? - спросил мужик.

- Михайлы Заикина сын. А это - сестра моя, Алена, - доверчиво сказал Ваня.

- То-то вижу: крепкой ты породы. Хоть и мал дубок, да вышел прок, - пошутил мужик, хлопнув Ванятку по плечу. - Я твой род знаю и отца твоего. Как Зиновий-то?

- Худо ему. Знать, помрет скоро...

- А ведь какой мужик! Зверь. Глыба, а не человек. Никого окрест сильнее его не было. По пятнадцать пудов на себя наваливал. Бывало, народ кругом стоит, дивится, а он, как тот пароход, знай прет себе мешки, только крикает. Да штой-то я, пойдём-ка, милок, ко мне в избу, найдем тебе работу, - сказал Ванин покровитель.

Стали Ваня с Аленой подпасками у богатея Сидорина. Вставали на зорьке, гнали скотину к дальней балке. Потом взбирались на самую вершину скалистой гряды, что подставляла свой

морщинистый лоб ветрам, несшим из-за Волги колючую пыль и горьковатые степные запахи.

Оттуда, с высоты, река казалась широкой шелковой лентой, уроненной кем-то на зелень трав, на коричневый загар глинистых берегов, на затейливые завитушки мелкоколосья...

Где-то там, в пыльном мареве, затянувшем дали, лежали большие города, шла интересная, большая, суровая и непонятная жизнь. Где-то там колобродил отец Ванятки - Михайла, большой, сильный, даже очень сильный, родной и все-таки чужой человек.

Все это было далеко. И думы, словно прилетевшие с колючим заволжским ветром, думы об этой большой и непонятной жизни будили смутное желание. Хотелось идти туда, увидеть все то, о чем когда-то рассказывали дед и отец...

- Вань, а Вань, - тормозила его Алена. - Гляди-кось, солнце на заход покатилося. И нам пора скотину гнать.

Детства не было. Была работа, хозяин, его гурт. Деревенские мальчишки после того случая побаивались Вани. Несколько раз самые сильные из них, которые постарше, вызывали его биться на кулачки. Но Ваня шутя расправлялся со своими противниками.

- Заикин! Его не трожь - сила! - уважительно говорили вчерашние недруги. Сила была в деревне едва ли не высшим авторитетом. Ей подчинялись все. В воскресенье пришел отец. Иван не сразу узнал его в этом обросшем грязной щетиной, изможденном и оборванном человеке. Только Алена, взглядевшись, с радостным криком, перешедшим в истерическое взвизгивание, бросилась к отцу на шею.

- Батя, батюшка, роди-и-и-менький мой! - по-бабьи причитала она, целуя отца в заросшие щеки, в грязную, цвета кирпича, продубленную ветрами и солнцем шею.

Только тогда Ваня, сдерживая волнение и пряча смущенную и радостную улыбку, степенно, совсем как взрослый, подошел к нему, обнял и троекратно, по-мужски, расцеловался.

Отец хлопнул его по плечу и, пощекотав жесткими концами усов, молвил:

- Ишь ты какой! Чистый орел.

- Скучали мы, папаня, - радостно округляя глаза, вскрикивала Алена.

- А я вот он. Куда я от вас теперь? Вместе будем....

Вечером, когда отужинали чем бог послал, отец шепотом спрашивал у сына:

- Ну как, не обижает вас хозяин-то?

- Есть-пить дает. А мы свою работу справно сполняем.

- Одежу сулил?

- Не. Не больно тароват.

- А денег?

- Обещал целковый серебром. Да полтину сверх того, ежели все как следует быть.

- Да-а, - протянул отец и шумно вздохнул. - Не сладко, знать, в людях-то. В своем хозяйстве, хоть голодовали да холодовали, слаще все-таки.

Отец оживился, вытащил старый кожаный кисет. Неуклюжими пальцами свертывая козью ножку, неторопливо заговорил:

- Думаю хозяйство ставить. Избу починим, лошаденку заведем...

А там, глядишь, и коровка пристанет. К осени и ты с Аленой денег принесешь - помога будет.

Отец мечтал, глядя немигающими глазами на чадный огонек коптилки. Поодаль, на куче соломы, по-детски уютно посапывала Алена. И казалось, что все эти мечты о хорошей жизни, о своей худобе, о светлом дне, который обязательно придет и вызволит их из нужды, непременно сбудутся. Стоит только как следует захотеть...

Отец погостил день, а потом по подсохшему большаку зашагал в Талызино.

Обвал

Ванятка с Аленой снова принялись за свое привычное дело. Спозаранку выгоняли скотину, брели по молодой траве, ласково щекотавшей босые ноги и омывавшей их ледяными капельками росы.

Солнце, с каждым днем взбиравшееся все выше и выше, сушило землю. И в полдень над полями, покрытыми изумрудной щетинкой озими, уже колыхалось желтое марево-предвестник летних гроз и пыльных бурь. И уже вдоль дорог вставали и кланялись, метались и снова опадали пока еще маленькие пыльные вихри.

Ваня с Аленой забирались в глубокую тенистую балку, заросшую черноталом, обрывистые берега которой стеною уходили вверх, - тут было тихо, влажно и безветренно - и сторожили стадо.

Лежа, Ванятка мечтал, как пойдет с отцом на ярмарку (Михайла обещал непременно взять туда сына в первое же воскресенье), как увидит балаган с клоунами, акробатами, волшебниками, у которых изо рта полыхает пламя, а из рук неведомо как вылетают птицы. Увидит он там, наконец, знаменитых силачей, слава о которых гремит по всей Волге, - Святогора, разбойника Чуркина, Добрыню-Лиходея и многих других.

О них с восхищением и вместе с тем как-то очень по-домашнему говорил отец. - Они супротив меня и деда Зиновия слабехоньки. Только вот Святогор - он крепок. Да, того не прошибешь. Волгарь он, сказывают, бурлаком был. Теперь деньги лопатой гребет! - с завистью рассказывал отец, у которого силы было хоть отбавляй, а вот деньги - деньги никак не давались.

"И что в них такое, в деньгах этих? - мучительно размышлял Ваня. - Нешто нельзя сразу много заработать, чтоб на всю жизнь хватило? Чтобы всем, кому надо, хоть папане, хоть крестному, - всем, сколько надо, раздать. Вот вырасту - непременно скоплю кучу денег..."

Грохот обвала прервал Ванины мысли. И раньше в балке сползала

земля, со свистом летели камни. Ребятишки привыкли к этому то глухому, то мягкому, то грозному дыханию оползней и обвалов.

Но тут было что-то такое, что заставило Ваню вскочить на ноги. Секунду он прислушивался, как где-то под ногами шумели потоки сырой земли. Потом эхо донесло другой звук - жалобный, призывный. Это был голос живого существа, голос, звавший на помощь.

- Кого-то засыпало, бежим, Ваня! - услышал он крик Алены и, не раздумывая, со всех ног бросился туда, откуда доносился жалобный, словно человеческий, стон.

Здесь, куда они прибежали, было совсем сумрачно и тихо. Среди груды свежей земли, полузасыпанная, торчала голова телки Красавки. Из больших глаз ее узенькими ручейками текли слезы. Телка тихо и совсем по-человечески жаловалась ребятам. Жаловалась и просила помочь.

И Ванино сердце, закаленное в невзгодах, не знавшее нежности, жесткое мальчишечье сердце, дрогнуло от жалости.

- Ой, беда, беда! И что теперь будет! - плакала Алена.

"Как же это получилось?.." - думал Ваня, беспомощно упав на колени возле Красавки и глядя ее крутую, всю в песчинках, в земле морду. Верно, взобралась она на обрыв по неприметным тропкам, проложенным деревенскими мальчишками, собиравшими ежевику. А там вдруг поползла земля. И вот - несчастье...

- Ну, хватит тебе. Развылась! - прикрикнул Ваня на сестру. - Откопать Красавку надо. Ступай ищи палку, да побольше. И я пойду. Лопаты ведь нет. Пока до деревни добежишь - околеет.

Коряга заменила лопату. Отбрасывали землю руками, корягой. Счастье, что земля была рыхлой и легко поддавалась. Вскоре Красавка была освобождена из плена. Но сильная и резвая телка - годовик беспомощно лежала на сырой земле. Ваня потянул ее за ухо, и Красавка, жалобно мыча, попыталась встать, суча передними ногами.

Задние - плетью лежали на земле.

- Ой, пропали! - взвизгнула Аленка. - Забьет нас таперича хозяин.

Решение пришло сразу. Ваня похлопал телку по крутой шее, затем подобрался под нее, приподнял и, с трудом выпрямившись, понес вниз по балке. В холеной Красавке было добрых четыре пуда.

- Оставайся, стадо стереги! - хриплым от натуги голосом крикнул Ваня сестре, согнувшись под тяжелой ношей, и, мелко и быстро семеня ногами, чтобы не споткнуться, понес Красавку в деревню.

Сколько он шел - час ли, два ли, четыре - дорога казалась нескончаемой. Ваня останавливался, шатаясь, укладывал Красавку на бугорок или холмик, разминал отекающую спину, утирал рукавом, едким от пота, соленую влагу со лба. Затем снова взваливал Красавку, смотревшую на своего спасителя огромными добрыми и влажными глазами, и снова брел.

Дорога была пустынной. Ни пешего, ни конного не попадалось, как обычно, навстречу. Иногда ему казалось, что он не выдержит, упадет, что какая-то жила надорвется и он грохнется оземь, истекая кровью. Но он боялся остановиться и, напрягая последние силы, изнемогая под тяжелой живой ношей, шел и шел.

Вот и деревня, почти безлюдная в этот полдневный час. За Иваном бежали голопузые детишки, надрывно крича:

- Ни-и-щай, ни-и-щай, телку прибил! У ворот хозяйской избы Ваня потерял силы и рухнул со своей ношей. Глаза застилал багровый туман, сердце билось быстрыми, частыми толчками. Он почти ничего не видел и ничего не слышал. А вокруг медленно собирались любопытные - мужики, бабы, ребяташки. В круг вбежала хозяйка, простоволосая, полуодетая. Закричала, заохала:

- Погубитель! Ирод окаянный! Раздвигая толпу, явился хозяин, протирая заспанные глаза.

- Ты што? Ты где...

Запекшимися губами Ваня произнес:

- В Черной балке... Сорвалась... Толпа зашумела.

- Ишь ты!

- Почитай верст семь на себе тащил!

- А в ней, никак, пудов пять будет.

- Ну и парень!

- Мужик бы не сдюжил!

Хозяин пнул Ваню ногой и процедил сквозь зубы:

- Вон, подлюга! Убить тебя мало. Штоб сей день выметался.

Пыльное солнце скатилось за Волгу, когда Ваня с Аленой садами пробирались из деревни на талызинскую дорогу. Шли молча, думая каждый о своем, о нищем доме, о горьком куске хозяйского хлеба.

Шли два подростка, и их хмурые лица глядели по-взрослому. Опять начиналась нищая, голодная жизнь. И опять, теперь уже надолго, пошли они по деревням наниматься в люди.

Бурлацкой тропой

Так и не сбылась давняя Ванина мечта - побывать в городе на ярмарке.



Семнадцатилетним подростком ушел он в бурлацкую артель. От Самары, по вековой тропе, протоптанной бурлацкими ногами - босыми, в опорках, в лаптях, - проторенной и в вязкой глине, и в камне, и в песке, - тянула артель баржи против течения, вверх по Волге.

Вставали засветло, жгли костры. Варили похлебку в общем котле, сдабривая ее кусками каменной соли, что везли купцы с Баскунчака. Умывались волжской студеной водой. Иван был равным в артели. Телом литым вышел он крепче большинства своих товарищей. Со стороны казалось, что он им ровня. Первое время с непривычки ныла грудь. Захватанная, почти черная лямка оставляла глубокий красный след на смуглом теле. А потом - ничего. Потом - пообвык, и старшой уже ставил его впереди ватаги, как самого дюжего, самого сильного.

Спали вповалку. С головной баржи притаскивали охапки соломы. По утрам от жесткого ложа каменело тело, болели мускулы.

- А ну, робята, выходи, кто хошь. Поборемся, - предлагал Иван, с хрустом расправляя затекшие, онемевшие члены.

Первым выходил Никифор Харитонов - высоченный, широкий в кости мужик, которого в артели прозвали Оглоблей.

- Давай, помнешься малость, - говорил Никифор, скидывая рубаху

и обнажая атлетическую грудь, всю в рубцах и шрамах - от работы и драк. Припасены были у ватаги на сей случай широкие кожаные пояса. Борцы перепоясывались, и начиналась потеха.

Никифор был трудным противником. Считали его бурлацким чемпионом. Не только силою брал он, но и знанием многих приемов поясной борьбы, ловкостью, удивительной в этом громадном медвежеобразном теле.

Первое время вызывал он. И Ваня, бывший еще в артели новичком, однажды решительно принял вызов.

Оглобля неспешно оглядел ладную фигуру подростка, хмыкнул и предупредил:

- Только смотри, нюни-то не распускай.

- А я привычный.

- Ну, держись, привычный! - широко ухмыльнулся Никифор и стал мягко, совсем по-кошачьи, наступать на Ивана.

Вот он резким движением вскинул руки. Железной хваткой легли они на пояс. И не успел Ваня опомниться, как лежал на земле, недоумевая, а над ним, тяжело сопя, стоял довольный Никифор.

- Вот, брат, как по-нашенски, - весело произнес Оглобля. Кругом, добродушно посмеиваясь, стояла ватага.

- Это как же! Это не по-честному, - обиделся Иван, потирая ушибленные при падении бока.

- Прием называется. С ним тебя хошь кто к земле припечатает, - перестав улыбаться, объяснил Никифор. - И бороться надо умеючи. На одну силенку надежа плохая.

Иван был задет за живое. А на утро следующего дня он уже снова стоял перед Никифором в кругу подзадоривавших товарищей.

На этот раз он был настороже, внимательно следил за каждым движением своего опытного противника. Они топтались друг против друга, как два рассерженных медведя. Никифор выжидал. Наконец он сделал выпад, но Заикин упредил его. Борцы сплелись в железных объятиях. Оба тяжело дышали. Тела стали скользкими от пота, но ни один не поддавался. Так и стояли они, сжав друг друга руками, напряженными до дрожи.

Кружок зрителей сдвинулся теснее.

- Дожми его, Никишка, дожми!
- Держись, Ванюха, не поддаваясь!
- Гляди, Никиш, он те шею-то свернет.
- Да, нашла коса на камень!

Так стояли они минуту, другую, третью...

- Будя, пусти, - прохрипел Никифор. Тяжело дыша, он шагнул в сторону, выпрямился и дружески хлопнул Ивана по плечу.

- Дубок! - восхищенно пробасил он.

- Эй, на берегу! Чего стали, черти лыковые! - крикнул артельщик с баржи. - Тяни с богом!

И бурлаки впряглись в ямку. Ватага зашагала по тропе. Никифор затащил:

Эй, дубинушка, ухнем!

Эй, зеленая, сама пойдет...

Артель дружно подхватила. И над Волгой, нестерпимо сверкавшей в лучах умытого солнца, над крутым, изрытым ветрами левым берегом, уносясь на широкий плес, полилась раздольная бурлацкая "Дубинушка".

...сама пойдет, подернем, подернем, да ухнем!

Ходили бечевой до поздней осени, до той поры, когда задули с севера сердитые холодные ветры и по утрам у самого берега стал намерзать тонкий хрусткий ледок. С каждым днем он крепчал, норвя отойти подальше, захватить побольше. Волга еще бурлила, даже в запанях, где вода была спокойнее, свинцовой и загадочней. Но уж чувствовалось - зима недалече.

За эти несколько месяцев Иван заметно подрос, повзрослел. Под ситцевой рубахой вздулись мускулы - вот-вот расплзется она. И уж Никифор, самый сильный в ватаге, и не только в ней, а и среди всего бурлацкого люда между Царицыном и Самарой, не мог выстоять против него.

Оглобля считал его своим крестником, относился к парню с

отеческой заботой, старался уберечь от всякого лиха, всякой беды.

Никифор учил Ивана бороться, показал ему все приемы, даже те, которые составляли его гордость и помогали ловко и неприметно для стороннего глаза укладывать противника на обе лопатки.

- Таперича ты, Ваня, должен быть первым силачом у нас на Волге, - не раз говаривал Никифор. - Ты всю борцовскую науку превзошел. Конечно, на ярманках все больше по-господски борются: разные там туше-куше, туры да прочие фигуры. У них там хитростей немало. Но, браток, у тебя против тех хитростей сила во какая! - и Никифор любовно хлопал Ивана по литой могучей шее.

Да, силы Ванятке Заикипу было не занимать. Случалось, он взваливал на свои плечи по два пятипудовых мешка с зерном и волок их добрую сотню саженой, на потеху ватаге гнул пальцами медные алтыны. Но, несмотря на редкую свою силу, был он характера смиренного, с товарищами делился последним, в обиду никого не давал.

Как-то раз Никифор пришел с пристани хмельной, буйный. Заметив, что один из ватажников усмехнулся, глядя на него, пришел в ярость.

- Ты што рыло кривишь? Аль не нравлюсь? Ватажник Семен Федосеев - бородатый, щуплый, лет сорока мужик, обычно неразговорчивый и все чему-то улыбающийся, поднял на Никифора удивленные глаза и лениво сказал:

- Ну чего прилип? Ложись-ко спать лучше, коли нализался.

Никифор шагнул вперед, рыча:

- А я допрежь того тебя спать уложу, гадюка!

- Ты, Никита, не воюй. Семен-то правду сказал, - вступился Иван, поднимаясь и загораживая ему дорогу.

- Нишкни, мозгляк!

- погоди! Ты со мной поговори, - не унимался Иван.

- Не встревай, убью! - захрипел Никифор. Пьяные глаза его налились мутной злобой. Лицо перекошилось. Он был страшен.

Все было делом одной секунды. Мгновенно пальцы Ивана сжали запястье Оглобли. Сжали с такой силой, что огромный мужик

невольно вскрикнул от боли. Тотчас протрезвев, он весь как-то обмяк, ссутулился и, не сказав ни слова, повернулся и улегся на ворох пыльной соломы. Улеглись и ватажники, повскакавшие с мест в ожидании драки.

- Ну, вот и угомонился, - тихо сказал Иван. - Никита, он хороший, только вот как хлебнет лишку - себя не помнит. Ты уж ему прости, - обратился он к Семену, все еще бурчавшему себе что-то под нос.

В октябре, когда по Волге ходили уже только одиночные пароходики, с треском ломавшие тонкий припай у пристаней, артель распалась. Разошлись кто куда: одни подались в Царицын грузчиками на железнодорожный склад, другие - в дровоколы, третьи отправились в Саратов. Прошел слух, что там нанимают рабочих на уральские заводы за казенный харч и сверх того красненькую в месяц.

Распрощались и Иван с Никифором. Никифор решил ехать к брату в Нижний.

- Браток у меня старший пекарь, - словоохотливо объяснял он.

- Авось куда-нибудь пристроит. Обнялись и, смущенно улыбаясь, расцеловались.

- Прощай, Ваня, приведет бог-свидимся. С холстинным мешком за плечами зашагал Ваня Заикин в родное Талызино. О другом пути он не думал.

"Ступай в силачи..."

И все-таки сбылась давняя мечта Ивана: побывать в городе на ярмарке. Было ему в ту пору семнадцать лет, но казался он значительно старше. И лишь глядя на его по-юношески округленное лицо, на добрую, застенчивую улыбку, на угловатые движения, обличавшие в нем подростка, можно было догадаться об истинном возрасте этого крестьянского парня.

Немного деньжонок сколотил Иван, работая в бурлацкой ватаге. Все они ушли на хозяйство. Как только сын воротился домой, Михайла тотчас отобрал у него весь заработок. Осталась лишь трехрублевка, засунутая под стельку сапога: эти деньги Иван решил припрятать на всякий случай. А вот, доведется побывать в городе на ярмарке, посмотреть на знаменитых силачей. А без денег куда сунешься!

Втайне лелеял Иван и еще одну мечту. Он не признался бы в ней никому, даже отцу. Эта мечта - самому пойти в силачи, померяться силою там, на ярмарке, на борцовском ковре.

Иногда в тихие осенние сумерки, когда деревня постепенно проваливалась в беззвездную черноту ночи и лишь лай собак да крики сплюшки, проносившейся на упругих своих крыльях над избой Заикиных, нарушали эту глухую, все обволакивающую тишину, Иван забирался на сеновал. Там остро и пряно пахло ушедшим летом.

Лежа на пахучем сене, широко раскинув руки, Иван вглядывался в непроницаемую темь и мечтал... Виделось ему, что выходит он на огромный помост, устланный каким-то особенным пушистым ковром. Господин во фраке и цилиндре - такого привелось ему увидеть однажды на самарской пристани - подходит к нему, поднимает его руку и провозглашает:

"Знаменитый волжский силач Заикин Иван из Талызина. Гроза всех борцов!"

Вот против него выходит бороться огромный человек с толстой

грудью, словно обложенной подушками. Несколько секунд - и противник припечатан к земле.

Тысячи людей поднимают руки, бросают вверх шапки, картузы и цилиндры, такие же блестящие, как на том господине, который объявлял выход Заикина.

"Заикин! Иван! Ива-а-ан..."

Иван приходит в себя от криков, раздающихся где-то рядом.

- Ива-а-ан! Ваню-ю-юха!

- Тут я, - откликается он.

- Вечерять иди. Точно бирюк какой - в сено зарылся, - ворчит отец. - Не докличешься. Иди в избу, тебя там Антипка ждет.

В кромешной тьме, навалившейся на деревню всей своей тяжестью, Иван ощупью спускается вниз и бредет в избу.

На лавке под образами сидит Антипка - погодок Ивана, но уже стреляный парень. Антипка только что вернулся из города и пока Заикины, стуча деревянными ложками, хлебают щи из большой глиняной миски, рассказывает о ярмарке.

На печи глухо стонет дед Зиновий. Видно, догорает могучая его душа. Догорает медленно, мучительно трудно, не желая расставаться с богатырским когда-то телом. А Антипка продолжает рассказывать о ярмарочных чудесах. Ваня слушает внимательно, в оба уха, стараясь запомнить все. Слушает и отец. Михайла изредка цокает языком, вздыхает. Потом вмешивается в разговор и начинает рассказывать про то, как ему было вольготно на ярмарке, как гнул он железную балку, уложил на лопатки заезжего силача немца и как купцы потчевали его за все эти подвиги.

- Эх! Отошло, видно, мое времечко! Не хаживать мне на ярманки... Да и дедка наш больно плох. Кончатся папаша... - И Михайла перекрестился.

Пока отец ходил за чем-то в овин, Антип торопливым шепотом уговаривал:

- Разве ж тут жисть? Слышь-ко, поедем, Ванюх, на ярманку. Малый ты дюжий... В силачи выйдешь... Глядишь, и денег кучу заработаешь. Там борцы ажио по тыще в день загребают... И купцы

им подношения делают... Хошь, вместе поедем?

- Папаня не пустят, - боязливо выдавил Ваня.

- А ты скажи, что в дворники наниматься пошел...

В сенях хлопнула дверь, и Антипка торопливо закончил:

- Опосля... Я к тебе завтра на сеновал приду... Против ожидания, Михайла отпустил сына на заработки.

- В нужде бьемся, - угрюмо говорил он. - Я тут как каторжник возле старика. А есть-пить надо. Ты гляди, сынок, что заработаешь, с верным человеком присылай.

- Ты, батя, не сомневайся, - торопливо произнес Иван, стараясь скрыть распиравшую его радость. - Мне деньги на што? Беспременно пришло.

Вышли на рассвете. Было и грустно, и радостно. За плечами болталась полупустая котомка.

Антипка еле попевал за широко шагавшим Иваном. Он, захлебываясь, рассказывал:

- Случай ноне самый подходящий. По всему городу афиши расклеены. Про борцов, значит. В люди, брат, выйдешь... Перед народом выступать будешь...

Иван слушал, и широкая улыбка не сходила с его лица. Будущее виделось ему в самом радужном свете.

В город приехали вечером. Смеркалось. На улицах кое-где уже зажглись фонари. Их жидкий, колеблющийся свет почти не пробивал влажной мглы, окутавшей все вокруг. По булыжнику, дребезжа крыльями, тащилась извозчичья пролетка.

- Слышь, Ванюха, возьмем извозчика. Притомился я сильно. А нам на другой край идти.

- А много ль он возьмет? - боязливо спросил Иван.

- Да четвертак, небось.

И, не дожидаясь согласия, Антип окликнул извозчика. Тот подозрительно покосился с козел на двух обтрепанных, по-деревенски одетых парней.

- Подвезти, што-ль, господа голопузые?

- А почем до Съезжей?

- С вашей милости три гривенника, - насмешливо сказал извозчик. Долго торговались, пока он наконец согласился везти за четвертак.

Приехали к знакомому Антипке лавочнику. На столе пыхтел самовар, в комнате было душно, пахло чем-то сдобным и кислым.

- Вот, Африкан Егорыч, привез земляка, - отрекомендовал Антипка Ивана. - Бороться на ярманке хочет. Такого силача на все наше Талызино нет. Заикин он.

Лавочник, глядя на огромную фигуру Ивана, неуклюже топтавшегося у порога, восхищенно проговорил:

- Да... Такой парняга в ход пойдет... Это городским борцам не подарок... Айдайте чай пить, - радушно пригласил он и первым присел к столу.

Иван робел. Судорожно стиснув в пальцах блюдце с чаем, он односложно отвечал на вопросы хозяина. Ему, простому деревенскому парню, после убогой обстановки родной избы, где стояли лишь колченогий некрашенный стол да простые скамейки, где на коричневых, даже скорее черных стенках не было ничего, кроме вылезших из пазов кусков пакли, торчавших точно бороды и хвосты диковинных зверей, - все в этом доме показалось сказочно великолепным. И необъятный киот, где иконы старинного письма все были в серебряных окладах, и целых четыре расписных сундука, стоявших вдоль стен, и высокий коричневый комод с ярусами ящиков, и, наконец, картины в толстых золоченых рамах, фамильные дагерротипы, с которых смотрела на Ивана - строго и неприязненно - бесчисленная родня лавочника.

Одна картина особенно приковала его внимание. На ней был изображен парусный корабль, погружавшийся во взбаламученную морскую пучину, люди, плывшие на досках, огромные валы с белыми шапками пены...

- Этой картине цены нет, - перехватил хозяин взгляд Ивана. - Намедни один знакомый приходил, он в земской управе служит, говорит, не меньше тыщи за нее взять можно...

И затем, переведя взгляд на Ивана, проговорил:

- Ты, парень, боролся?
- Баловался малость.
- С настоящими борцами?
- Да нет... Все больше с деревенскими. Да еще когда в бурлацкой ватаге ходил - там немного...

- Приемы знаешь?
- Отколь ему знать? - вступил Антипка. - Да ему и не надо. Он у нас костолом - силищи необъятной.

- Господа - так те у нас все больше по скачкам. А мы народ попроще. Мы всегда на борьбу ходим.

Выложишь полтину, и целый день удовольствие имеешь, - отхлебывая чай, говорил хозяин.

- Небось, силачи эти, которые сюда наезжают, покрепче наших, деревенских-то, будут? - спросил Иван. - Они, чай, с господских-то хлебов здоровей нашего...

- Не, милоч, не думай, - замахал руками лавочник. - Такие среди них хлипкие попадают - на удивление. В чем только душа держится. Они все приемами берут... Каждый, почитай, не одну дюжину этих приемов-то знает. А когда меж них несогласие - глядеть страшно. Так друг друга и мутузят, так и возят - и под микитки, и взащей, и по-всякому... Но против нашей силы русской, без хитростей, никто устоять не может - ни немец, ни француз, ни англичанин.

Лавочник восхищенно взглянул на Ивана и добавил:

- Ты, милоч, им беспреренно покажешь, почем фунт гребешков.

Из горницы хозяин повел гостей по скрипучим половицам в крайнюю комнату, в которой, кроме топчана и двух табуретов да герани на единственном окне, ничего не было.

- Не обессудьте, гости дорогие, бедно живем. Зато тут покойно будет.

- Жестко спать - хвори не бывать, - пошутил Антипка.

Друзья задули лампу, укрылись рядом и тотчас уснули, словно провалились куда-то.

Дебют

Утром все втроем отправились в городской сад.

- К хозяину борцов, слышь, идем, - шепнул Антипка, заговорщицки подмигивая.

- Вы тут постоите, я сейчас, - сказал Африкан Егорыч, ныряя в низенькую дверь большого балагана, над фронтоном которого чернели буквы "Театр" и была нарисована пузатая лира, почему-то напомнившая Ивану хозяйский самовар. Вскоре из двери показался, пятясь задом, Африкан Егорыч, за которым шагал старик с крашеными усами. Это был антрепренер борцовской труппы. Он осмотрел Ивана с ног до головы, потом подошел и, словно барышник, стал ощупывать его руки и ноги.

- Да-а-а, ничего экземплярца, - протянул он хрипло. - Что ж, бороться вздумал?

- Все одно - хошь бороться, хошь нет. Это уж как прикажете.

Африкан Егорыч топтался вокруг антрепренера, заглядывал ему в лицо и бормотал.

- Вы, ваша милость, не сумлевайтесь - силища страшная! На Волге баржу один тянул. - Лавочник оборотился к друзьям и, подмигнув им, продолжал: - Намедни у меня во дворе навалили ему на спину пять мешков муки...

- Шесть! - выпалил Антипка.

- ...шесть, - подхватил лавочник. - Снес, и хоть бы што. А в каждом - пудов по пять будет.

- Ну хорошо, хорошо, - нетерпеливо прервал его антрепренер. - Пускай через три дня приходит сюда. Только одень его поприличней. А то вон на нем рвань какая. - И старик, брезгливо поморщившись, повернулся и пролез в балаган. - Вы не сомневайтесь, ваша милость, все сделаем, - прокричал ему вдогонку Африкан Егорыч.

Когда шли обратно, лавочник поминутно хлопал Ивана по плечу и, довольный, словно он, а не Иван выйдет на цирковую арену,

говорил:

- В люди выйдешь, паря! Я из тебя человека сделаю... Пока живи в дворниках. Положу два с полтиной в месяц. Да кормить буду. Ты вон какой - на один прокорм рублей тридцать надо.

Иван на все был согласен.

Через три дня Африкан Егорыч и Антипка снова повели Ивана в городской сад. На Иване была какая-то странная поддевка, видно, раздобытая лавочником у старьевщика и потому тесная для его огромного, ладного тела, и короткие, вытертые в коленях плюсовые штаны.

Иван чувствовал себя очень неловко в своей новой "господской" одежде, поминутно взглядывал на штаны и поддевку, расстегивал и застегивал пуговицы на ней, не зная, куда девать руки.

Он боялся сделать лишнее движение или развести плечи, потому что одежка трещала на нем при всяком повороте.

Видно, со стороны фигура этого дюжего парня в одежде с чужого плеча казалась странной, потому что прохожие и проезжие непременно норовили оглянуться на всю троицу, а некоторые откровенно посмеивались.

В городском саду играл оркестр. По аллеям, несмотря на сравнительно ранний час, уже бродили гуляющие.

И здесь комически важная фигура Ивана, старавшегося не улыбаться, вызывала всеобщее внимание. Он замечал это внимание, смущался и, наконец, когда они подошли к той самой двери балагана, куда давеча заходил Африкан Егорыч, решительно, не ожидая приглашения, пырнул внутрь.

Дверь эта вела в полутемный коридор, где пахло почему-то конюшней и по обе стороны были маленькие двери.

После яркого дневного света глаза долго не могли привыкнуть к этому полумраку. Лавочник, почтительно изогнувшись, деликатно постучал пальцем в одну из дверей.

"Войдите!" - послышался оттуда знакомый старческий голос. Африкан Егорыч приоткрыл дверь и, махнув Ивану рукой, бочком пролез в нее, вежливо поздоровался с антрепренером.

- Вот, привел к вашей милости.

Старик с крашеными усами посмотрел с недоумением на диковинный наряд Ивана, и его громадное тело заколыхалось от смеха.

- Ох, уморил, каналья! - смахивая набежавшие слезы, хрипел он.

- Серж! - позвал старик.

Из соседней комнаты вышел невысокий бритый мужчина лет примерно сорока с живыми черными глазами на смуглом, восточного типа лице.

- Вот, рекомендую, погляди на это пугало, - сказал антрепренер, все еще сотрясаясь от смеха. - Бороться пришел...

Мужчина, которого звали Сержем, сдержанно улыбнулся, бесцеремонно ткнул Ивана, багрово-красного от смущения, в живот и коротко приказал:

- Раздевайсь!

Иван стоял - словно аршин проглотил.

- Ну, чего стоишь, верста коломенская? - рассердился Серж. - Сказано раздевайсь.

- Снимай одежду-то! - прикрикнул на него Африкан Егорыч.

Иван стал неуклюже стаскивать с себя поддевку, стянул рубашку и остановился.

- Все снимай! - нетерпеливо приказал Серж. Иван остался в чем мать родила.

- Да-а, фигура знатная! - не скрывая восхищения, промолвил Серж, оценивающе оглядывая его. - Откуда такой будешь?

- Из Талызина мы, - багровея и стыдливо прикрываясь ладонью, выдавил Иван.

Африкан Егорыч угодливо сказал:

- Такой парняга, господин хороший, еще как и ход пойдет. Это всем борцам не подарок, - повторил он понравившуюся фразу.

Старик-антрепренер, видимо, из бывших борцов, шагнул тем временем в угол, выбрал из кучи тряпья самое большое трико и подал Ивану.

Иван взял трико, остро пахнувшее потом, и стал вертеть его. Это

была одежда, которой он не видывал ни разу и потому не знал, как с ней быть. Видя замешательство парня, старик поспешил ему на помощь. Вдвоем они кое-как натянули трико.

- Ну вот, теперь ты готов, - сказал антрепренер, с силой хлопнув Ивана по шее. - Пошли!

И он повел Ивана по коридору. Африкан Егорыч и Антипка, стоявшие тут же, поспешили было за ними, но старик сказал:

- Куда?! Нельзя! Серж, проводи этих в зал.

В комнате, куда привел Ивана антрепренер, на скамьях сидели или полулежали борцы - участники будущего чемпионата. Все они с любопытством воззрились на Ивана.

- Вот, рекомендую, - волжский богатырь из села Талызина, Иван... э, как тебя?

- Заикин, - подсказал Иван.

- ...Заикин, - продолжал старик. - Будет бороться.

В это время где-то за стеной весело грянула музыка. Послышались аплодисменты. "Будто горох просыпали", - подумал Иван, становясь смелее и всматриваясь в своих будущих соперников. "Все здоровые, - отметил он про себя. - А ну, как положат перед всем народом!" От этой мысли он даже поежился и, чувствуя себя все более неловко, опустил на краешек скамьи. Сидевший на ней грузный, бледный атлет, уже немолодой, ноги которого были разрисованы синими ручейками набухших вен, дружелюбно спросил:

- Много боролся-то?

- Да нет. Вот так, в цирке, ни разу... В это время вошел тот, которого звали Сержем, и крикнул:

- Выходи по одному! Парад алле.

- Вставай, - сказал Ивану сосед и потянул его за руку к выходу, где стояли, выстроившись в шеренгу, борцы. К первому из них рысцой подбежал Серж, выпятил грудь и зашагал в распахнутую дверь, которая вела на арену. На мгновение Иван растерялся и даже зажмурился. Цирк весь был залит огнями, и глаза от этого невиданного великолепия плохо видели. Стараясь не потерять

спины впереди шагнувшего, он маршировал под шумно игравший оркестр, неловко размахивая руками и выбрасывая вперед негнувшиеся ноги.

Передний неожиданно остановился, и Иван, не успев задержаться, наткнулся на него. В публике заметили - раздалась сдержанные смешки.

Серж - арбитр чемпионата, вышел вперед, поклонился и начал:

- Уважаемая публика! Господа! Сегодня вашему вниманию предлагается крупнейший волжский чемпионат классической борьбы. Вы увидите схватки сильнейших борцов России, Германии, Франции...

Серж повернулся к выстроившимся полукругом борцам и стал выкликать их по очереди. Вызванный сделал шаг вперед и кланялся публике.

"Видно, и до меня скоро дойдет черед, - тревожно подумал Иван.

- Надобно поклониться, а как?" Все в голове перепуталось от волнения.

- Иван Заикин, богатырь из села Талызино Симбирской губернии,
- выкрикнул арбитр.

Иван не трогался с места. Ноги точно налились свинцом. В ушах шумело.

- Ступай, это тебя, - шепнул ему сосед.

Иван всем корпусом подался вперед, неловко взмахнул руками и трижды в пояс, по-деревенски, поклонился.

В публике засмеялись, зашумели. Раздалась нестройные хлопки. Аплодировали Ивану. Верно, зрители поняли по его смущенному виду, что этот мускулистый гигант впервые вышел на арену, и почувствовали к нему симпатию.

Ободренный, почувствовавший себя уверенней. Иван наконец смело взглянул в зал и отошел на свое место. Мысли потекли ровней, свободней.

Затем участников чемпионата снова увели за кулисы.

- Теперь будем ждать своей очереди, - дружелюбно сказал ему сосед, заметивший полную неопытность новичка. - Как вызовут,

выйдешь на арену, пожмешь руки арбитру и напарнику, да и публике поклонись. Арбитра слушайся. Что он ни скажет, то и делай. Он сейчас главный.

Иван боролся в последней паре. Его противником был старый опытный борец Мюллер. Теперь, уже попривыкнув, он без волнения ждал начала поединка, внимательно глядя то на своего партнера, - небольшого роста, но очень широкого в плечах и сильного немца, то на арбитра и боковых судей, то на публику.

Прозвучал сигнал, и Иван, помня наставления, вышел вперед. Началась схватка.

Немец, видя неумелость и неопытность своего противника, зло издевался над ним. Он то бил его головой в грудь, то, будто нечаянно, ударял кулаком по лицу, то с размаху двигал коленкой в живот.

Иван был оглушен. Он то и дело недоуменно и беспомощно взглядывал на арбитра, на жюри, словно спрашивая: "Неужто это по правилам, неужто так и надо?"

Но те равнодушно следили за поединком на арене и, казалось, ничему не удивлялись. В публике шикали.

И вдруг, побавровев от злости и напряжения, Иван набросился на немца. Он стиснул его в своих могучих объятиях, поднял в воздух и с размаху швырнул на ковер. Навалившись всем телом, он с силой прижал его лопатками к полу. Зал неистовствовал.

- Так его, немчуру! - кричали из публики. - Жми, парень! Покажи ему силу русскую!

Галерка бушевала. Оттуда раздавался оглушительный свист, восторженные крики.

Арбитр, не ожидавший такого исхода, засуетился, поднял руку и без всякого воодушевления выкрикнул:

- Победил чистым туше Иван Заикин из села Талызина Симбирской губернии. Музыка грянула туш, и Иван с сияющим лицом проследовал за кулисы.

- Медведь проклятый! - зло прошипел сзади чей-то голос. Иван с удивлением оглянулся и увидел хозяина чемпионата.

Крашенные усы его негодующе шевелились, глаза метали искры.

- Разве ж тебе, дуболому, велено было класть его на лопатки?! Ты должен был сопротивляться - и все.

Иван недоумевал. Округленными от удивления глазами он смотрел то на арбитра, стоявшего рядом, то на антрепренера. Оказывается, ему вовсе не нужно было побеждать, ему была отведена роль манекена, которого на потеху публике должны были положить на обе лопатки. Антрепренер с досадой махнул рукой и швырнул к ногам Ивана его "господскую" одежду.

- Одевайся и убирайся! - прохрипел он. - Деревенщина. Еще в борцы лезет.

Одевшись, Иван вышел на улицу, где его уже поджидали Африкан Егорыч и Антипка. Они были в восторге.

- Ох, и ловко же ты его! - захлебывался лавочник, семена рядом с Иваном.

- Пускай знает немец, как супротив наших-то бороться, - вторил ему Антипка.

А на душе у Ивана было не очень-то радостно. Он чувствовал, что его силе, его железным мускулам противостоит какая-то другая сила - темная, неуловимая, но могущественная.

На пристани

Вернул Иван Африкану Егорычу его городскую одежду. Не захотел он, несмотря на все уговоры лавочника, остаться в дворниках.

- Не обидел я тебя, часом? - допытывался Африкан Егорыч.

- Спасибо за хлеб-соль, за добро. Но только уж пойду я. Теперь ни к чему мне здесь оставаться. Домой пойду...

- Да ты что, спятил!? Тебе сейчас верная дорога в цирк, - кипятился лавочник.

Но как ни уговаривал его Африкан Егорыч, как ни выходил из себя, Иван упрямо стоял на своем. Он глядел исподлобья, хмуро и ждал только минуты, когда лавочник наконец уймется и ему можно будет собрать свои пожитки и тронуться в дорогу.

Дома было тоскливо и убого. Деда Зиновия похоронили, и Иван отправился на его могилу. На холмике, где еще не успела вырасти трава, стоял некрашенный деревянный крест.

Иван пришел с отцом. Михайла постарел, сгорбился, почти перестал следить за собой, и сын смотрел на него со смешанным чувством жалости и какой-то досады.

- Сильный был мужик папаня, - глубоко вздохнув и сделав скорбное лицо, сказал Михайла. - Никто против него устоять не мог, а вот смертушка его положила. И нам с тобой с ней не сладить.

Отец и сын поклонились сирому холмику земли и пошли в деревню. Иван был молод. Он не думал о смерти. Он просто не понимал, что такое смерть.

Хозяйство было разорено. Михайла стал сильно пить. Последнее нес в казенку. Изба вконец обветшала. Со стороны улицы дугой выпятились бревна, столбы ворот наклонились, словно задумав уйти отсюда куда глаза глядят. Было тоскливо и горько. От нищеты, от постоянных дум о еде, о деньгах, которых не было да и не могло быть.

Иван и недели не выдержал в родном доме. Он теперь жалел, что

не остался у лавочника, что променял безбедную жизнь в городе на эту деревенскую, хоть и свою, родную, но горькую жизнь.

- Не могу я, тятенька, больше. Мочи нет... Михайла неожиданно согласился - всю эту неделю он был трезвехонек.

- Правда, сынок, пойдем в Самару. Там наших, деревенских, много: кои на пристани, кои в фабричные пошли, мастеровыми стали. Пойдем-ка и мы с тобой. И пошли они от деревни к деревне. Где помогут, а где знакомые сыщутся - всё хлебушек есть, всё с грехом пополам сыты.

В Самаре пошли наниматься на пристань. Подрядчик оглядел их, подивился и тотчас же дал работу.

Стали отец с сыном грузчиками. Работали за четверых. Да что там за четверых - за полдюжины.

Сверху и снизу по Волге тянулись караваны барж. Груз был разный - то зерно, то мука, то камень, то бревна, то тяжелые ящики бутылок, серебрившихся горлышками, то бочки с каспийской рыбой.

Крепли, наливались железом мускулы Ивана, тяжелая работа придавала ему сил. И никнул, горбился, слабел Михайла, точно мешки, которые он ворочал, пили из него кровь. Незаметно сын стал покрикивать на отца, стал верховодить. Случилось это, конечно, не сразу. Михайла все еще хорохорился, наваливал на себя столько, сколько волокли обычно два грузчика. Однажды он не выдержал и на полпути, на шатких скрипучих сходнях, присел, а потом лег, развалив ношу.

Вокруг быстро собрались грузчики.

- Ванятка, слышь, батька твой надорвался! - крикнул ему один из грузчиков. Иван побледнел, стремительно скинул мешок и бросился на сходни. Навстречу уже шли двое, а между ними, опираясь на их плечи, ковылял Михайла. Он криво улыбался и непрерывно повторял:

- Это ништо. Это пройдет. Сдал я малость... Иван, не говоря ни слова, поднял отца, как мальчика, на руки и отнес на тюки с шерстью в дальнем углу причала.

- Это ништо, - все еще повторял Михайла, - я враз оклемаюсь.

Иван сердито, даже грозно посмотрел на отца.

- За тобой, как за малым дитем, глаз нужен. На што тебе столько накладывать?

- Водицы бы, - шевельнулись запекшиеся губы Михайлы.

Вокруг столпилась почти вся артель. Кто-то сбегал и принес воды в зазеленевшем от старости медном ковше. Михайла большими глотками выхлебал воду, приподнялся, глядя на всех красными, набрякшими от боли глазами.

- Вот и полегчало, - сказал он и снова откинулся на тюк.

Рысью прибежал артельщик, багровый от гнева, и еще издали начал кричать:

- Чего стали, ироды! Давай по местам. Баржа стоит.

- Человек вот зашибся, - угрюмо ответил кто-то.

- А вы что, дохтура? Вылечите? Не помрет, небось, - разорился тот. - Баржа стоит. Убыток из-за вас терплю... Всех оштрафую...

Иван повернулся и шагнул к артельщику. Ярость вскипала в нем багровой, не знавшей преград волной, обжигая, лилась из глаз. Это был уже не робкий деревенский парень, каким он пришел на пристань два месяца назад, а богатырь, знавший свою силу. Огромного роста и крепкого сложения, шести пудов весу, запросто гнувший пальцами медные алтыны, он в эту минуту казался еще выше.

- Нишкни, шкура! А то я те такой штраф покажу - в Волгу прыгнешь. - И он поднес громадный кулак к лицу артельщика. - Человек надорвался, а он тут пугать вздумал.

Визгливый голос артельщика раздался уже из-за чьей-то спины:

- Я те припомню, бунтовщик! Ты у меня еще в ногах поваляешься...

Нет, Иван Заикин не был бунтовщиком. Но этот не ученый грамоте деревенский богатырь, таскавший на своих плечах хозяйское добро, видел, как мирские захребетники набивают мошну за счет труда таких вот, как он, как Михайла, как тысячи и тысячи тружеников земли русской.

Прежде он почтительно стягивал шапку перед артельщиком, перед купцами, наведывавшимися на пристань и часто заговаривавшими с ним. Он беспричинно робел перед хозяевами, восхищенными атлетической фигурой молодого парня, его силой, которую он охотно показывал и о которой уже ходили легенды - и не только среди своих, артельных, где он был первым.

То, что неприметно, капля за каплей, откладывалось в его сердце, в сознании, копилось годами полунищей жизни, теперь требовало выхода. Плюгавый артельщик, которого он мог опрокинуть на землю движением пальца, командовал им, распоряжался его судьбой. И его сила, которой все восхищались, ничего не могла поделаться против него. Плюгавый артельщик, вершивший вдобавок чужую волю, все-таки брал верх.

Михайла терпеливо уговаривал сына не связываться с артельщиком. Он чувствовал себя лучше и теперь, сидя на куче тряпья, заменявшего ему матрац, философствовал:

- Возьмем, примерно, белугу. Здоровая она рыба, верно? А все-таки с человеком ей не сладить, хоть он супротив ее - малявка. Бьется она, бьется, а все равно ей конец. Выходит, и ты против хозяина вроде малявки. Сколь ни бейся - ему твоя сила нипочем. Мигнет он - и тебя в острог, а то и в Сибирь упекут. Наше дело - работу сполнять и хозяину уважение оказывать. А не то с голоду пропадем. Вот, сынок, какая тут линия...

Артельщик донес хозяину. Но тот рассудил иначе:

- Такой парняга, работающий за пятерых, а получающий вровень со всеми, - выгоден.

Однажды Михайлу вызвали в контору.

За столом сидел хозяин, теребя редкую, словно бы пообщипанную бородку, и нетерпеливо барабанил пальцами по коричневой доске.

- Вот-с, ваше степенство, это и есть Заикин, отец того самого... - предупредительно сказал артельщик.

У Михайлы ноги налились свинцом. "Расчет - не иначе, - решил он. - На все четыре стороны, значит..."

Но хозяин неожиданно милостиво протянул:

- Ты вот что, Заикин, за сыном-то поглядывай. Чтоб не крамольничал. А то на него жалоба есть. На сей раз прощаю: работники вы справные, пользу даете. А еще случится такое - терпеть не буду.

Михайла поклонился. Хозяин порылся в кармане и двумя пальцами выудил оттуда двугривенный.

- На-ко, сыну передашь. От меня, скажешь... Он у тебя, как Еруслан Лазаревич - силы невиданной. Только в строгости его содержи.

- Премного благодарны за милость, ваше степенство, - бормотал Михайла, принимая монету. - Вы не сумлевайтесь, все в аккурате будет. Тяжелше работу сполняли - и то ничего. А Ваня мой, это точно, шесть али семь пудов снесет - не крикнет.

- Ну, ступай с богом.

Михайла вышел, кланяясь. И как только за ним захлопнулась дверь, распрявился, довольно ухмыльнулся и заспешил к барже, где на разгрузке работала артель.

- Слышь, Ванек, хозяин-то тебя двугривенным пожаловал. Ты, говорит, Еруслан, и баста, - Михайла показал монету и снова сунул ее в карман. - Завтра, сынок, в цирк пойдем, на Снежкина.

"Король" - на лопатках

- Ну, артель, шабаш. Кончай работу, пошли в баню.

Михайла Заикин крякнул, расправил плечи и широко зашагал по булыжной мостовой. За ним, такой же большой и грузный, шел Иван. Артельные грузчики, которым изрядно намяли бока тяжёлые кули, бочки и прочая кладь, до отказа забившая пакгаузы, амбары, склады самарской пристани, расходились, перебрасываясь шутками.

- Айда, Ванятка, побанимся, - предложил Михайла, остановившись у пузатой, похожей на городского, афишной тумбы. Красные, черные, синие перекликались буквы.

- "Король по-яс-ной бо-рь-бы Снежкин", - по складам читал Михайла, щурясь на большой рисунок, изображавший мускулистого атлета. - Постой, постой, штой-то тут: "Де-мон-стра-ция си-ло-в-ы-х при-е-мов. Вы-зы-ва-ют-ся на ко-вер же-ла-ющие по-ме-ря-ться си-лою. По-бе-ди-те-лю вы-пла-чи-вают-ся пять-де-сят руб-лей", - осторожно читал Михайла, словно боясь поскользнуться на незнакомом слове.

- А што, Ванюха, посмотрим, каков он, Снежкин? Взаправдашний ли он король?! У таких-то королей можно взять полста рублей. Давай попробуем? Полсотни - деньги гра-а-мадные, - продолжал рассуждать Михайла, размахивая на ходу руками. - А может, сначала в баньку?

- Не-е, батя, давай уж в цирк.

Над городом медленно сгущались мягкие летние сумерки. Река дышала свежестью. Лениво, нехотя перекликались пароходные и паровозные гудки. Нарядная толпа фланировала по прибрежному бульвару, откуда хорошо были видны Волга, дальние леса, тонувшие в сизой закатной мгле.

У цирка - толпа. Где-то там, за дощатой стенкой, призывно гремит оркестр: слышен ровный гул, то неожиданно смолкающий, то прорывающийся громом рукоплесканий, свистками, неистовыми

криками.

- Куда лезешь, нечесанный, - напустился капельдинер на Михайлу.
- Не видишь, что ли: тут для господ?

Михайла отступил, смерил щуплую фигуру капельдинера презрительным взглядом и усмехнулся:

- Мы всегда были господа, а ты хошь и чистоплюй, все ж господский холуй, - отрезал он, не моргнув глазом. - Пойдем, Ваня, до добрых людей на галерку.

Примостились на галерке среди таких же, как они.

- Глянь-ка, Ванька, вон он, Снежкин-то! Да, видный мужчина.

Король поясной борьбы укладывал на лопатки очередного противника, едва ли не на целую голову выше его. Снежкин дожимал верзилу. Публика ревела.

- Давай, Снежкин!
- Так его!
- Эй, верста коломенская!

Петушком скакал вокруг арбитр, засматривая вниз. Вот он поднял руку, и взрыв восторга потряс здание цирка. Слов арбитра не было слышно.

- Ура Снежкину!

Снежкин, коренастый, плотный, с огромными буграми мускулов, перекатывавшихся на руках, небрежно похаживал по арене.

- Господин Снежкин вызывает бороться желающих из публики! - выкрикнул арбитр. - Милостивые государи, есть ли желающие? Победителю господин Снежкин назначает пятьдесят рублей! - и арбитр взмахнул двумя новенькими кредитками, подняв их над головой.

- Фальшивые! - выдохнул кто-то, и тотчас в зале раздались смешки.

Призыву никто не внял: десять борцов, положенных Снежкиным в порядке живой очереди, говорили сами за себя. Охотников не находилось.

- А ну кто из уважаемой публики желает пощупать лопатками ковер? - теряя терпение, выкрикнул король поясной борьбы. - Кто

устоит против меня, плачу полста.

- Вань, ну что ты? Иди, иди! - толкал Михайла в бок сына.

- Покажи-ка королю нашу заикинскую силу, а то я выйду. Чего робеешь? Ну, положит он тебя. Убудет, что ли? Небось, не помрешь.

Ивану было страшно. Но отец не отставал. И соседи, глядя на богатырскую фигуру его, загалдели:

"Давай, давай, парень, не робей! Смелость города берет!"

Ваня пошел между рядами, сначала робко, потом все быстрее, и одним прыжком перемахнул барьерчик.

- А-а! Нашелся, - самодовольно сказал Снежкин. - Смотри, парень, не боишься кости-то растерять? - ухмыльнулся он, оценивающе оглядывая Ивана.

Все осталось позади - и недавние страхи показаться на арене, попасть под обстрел тысячи глаз, и боязнь осрамиться публично. Потребовалась всего лишь минута, чтобы Иван забыл обо всем постороннем. Он видел только своего противника и мысленно решал, как будет бороться.

Подошел арбитр, взмахнул рукой, и борцы сошлись. Снежкин был силен да и опытен. Заикин мог противопоставить ему лишь молодой задор, силу и энергию, бившие через край, ловкость и упрямство.

Поняв, что имеет дело с зеленым юнцом, Снежкин попробовал было провести два-три несложных приема.

- Эй, парень, смотри, портки-то побереги! - хихикнул кто-то.

А с галерки гудел Михайла:

- Ваня, Ванюша, не робей!

Снежкин уже тяжело дышал. Теперь он не нападал, а лишь старался быстрее освободиться от заикинских захватов.

И вдруг случилось неожиданное: Иван резким рывком уцепил Снежкина за пояс, молниеносно ринулся на него и прежде чем король поясной борьбы успел что-либо сообразить, прижал его лопатками к ковру.

Зал охнул, застонал от восторга. На арену полетели платки, какие-

то свертки, яблоки.

Снежкин поднялся сердитый, злой, протянул Заикину ладонь и зашипел:

- Кланяйся, дурья башка, кланяйся! Ведь это я для куража лег.
- Э-э... молодой человек, как вас там по батюшке?
- Заикин, Иван... Михайлов, - смущенно ответил Иван.

Арбитр, обратясь к публике, выкрикнул:

- Победил Иван Михайлов Заикин. Господин... э-э... Заикин, извольте получить пятьдесят рублей. Из зала неслось:

- Эй, парень, пощупай - деньги-то не фальшивые ли?
- Экой молодец! - сказал кто-то из публики, провожая глазами статную фигуру Ивана, спешившего к отцу. - Ему бы подучиться - знатный борец бы вышел.

Говоривший умолк, а затем обратился к своему соседу, полицейскому исправнику:

- Господин исправник, вы не знаете этого парня? Я бы хотел с ним познакомиться. Из него толк выйдет. Великолепного сложения, безукоризненных форм...

- Нет, господин Пытлясинский. С этим аристократом я не имею чести быть знакомым, - усмехнулся исправник. - Пока мне его не представили. Но, глядя на его фигуру, смею надеяться, что знакомства не миновать.

В людях

- Сила у тебя, парень, невероятная, да-с. И чего ты с хлеба на квас перебиваешься? Ступай-ка на ярмарку в Царицын. Будешь купцам свою силу казать. Уж больно они силачей любят, купцы-то, глядишь, в день целковый насуют - по алтыну да по пятаку. Ступай, браток, вот тебе весь сказ. Иван слушал своего доброхота, а в уме уже зрело решение: "Все равно хуже не будет, да и деньги пока есть". От пятидесяти рублей, которые он получил в цирке за победу над Снежкиным, осталось рубля три с мелочью. Львиную долю забрал отец, несказанно обрадованный словно с неба свалившимся деньгам.

- Ты, Ванятка, оставайся, а я уже пошел. Деньги эти на обзаведение нам. Хозяйство теперь поднимать буду. Коровенку купим...

А доброхот потихоньку свое гнул:

- Иди, сыт будешь, обут будешь. С ватагой иди. Придешь в Царицын, бери расчет - и на ярмарку. Да-с...

А чего ж в самом деле не пойти? Иван и так не гнушался любой работы. Вот и крючником был, и поводырем у слепца, и лямку тянул в бурлацкой ватаге...

- Ты ведь у нас знаменитость... - продолжал доброхот...

Иван встретил его в трактире, куда они забрели с отцом из цирка в тот памятный вечер, когда Иван за несколько минут стал городской знаменитостью - победителем Снежкина.

Сухонький, с маленькими бегающими глазками под высоко вздернутыми на лоб бровями, неопределенного возраста, человек этот вначале не понравился ни Михайле, ни Ивану. Не понравился той бесцеремонностью, с какой подсел к их столу и тотчас вступил в разговор.

- Ты что ж, господин хороший, чиновничья кость, - оборвал его Михайла, - никак, нам кумом приходишься? Не признал я ты что-то.

- Семен Никифоров Предтеченский, по акцизному ведомству

служил, а ныне большим почитателем борьбы-с являюсь. Узрел сего Голиафа и свой восторг не могу не выразить-с.

- Никакой я не Голиаф, - обиделся Иван. - Я крещеный.

- Голиаф, молодой человек, это есть символ мощи нечеловеческой, непобедимости дерзновенной.

Новый знакомый оказался большим любителем горькой. Подвыпив, он полез обнимать Ивана.

- Титан, аки Геракл, Немейского льва победивши. Только умение вот надобно. Тогда такой будет кураж, такая слава, что Снежку против нее никуда. Человек не отставал от Заикиных и все следующие дни. Он свел Ивана с борцом-любителем Владиславом Пытлясинским, инженером-электриком по профессии.

Пытлясинский, решивший в то время целиком посвятить себя спорту, стал учить молодого грузчика некоторым приемам французской борьбы...

- ...Терять тебе, друг мой, нечего, ступай, в люди выйдешь, - повторял Семен Никифорович.

Сколько раз уже слышал Иван эту фразу. А вышел ли он в люди? Он оглядел себя с головы до ног. "Нет, - подумал он, - в люди я не вышел. Все голь перекатная". На ногах лапти, обычные лыковые деревенские лапти. Штаны изодранные, с залатанными коленками. На голове - войлочная шляпа, да рваный армячишко на плечах. Словом, бурлак.

- Дал бы ты мне, Ваня, исполин ты мой, двугривенный. В карманах ветры свишут, а в животе музыка играет, с утра крохи во рту не было.

- Пропьешь ведь, - буркнул Иван, доставая монету.

- Дак уж рюмашечки не миновать, - осклабился Семен Никифорович. - За твои успехи. Быть тебе великим борцом.

...Затерялся Иван в гомонливом Царицыне, соломинкой носило его по ярмарочному морю. Много лапотников шаталось в ту пору по ярмарке, и никто не обращал на парня никакого внимания.

В первый же день Ивану посчастливилось. Толпа прибила его к помосту, на котором какой-то силач жонглировал двухпудовыми

гирями. Копейки и даже пятаки сыпались в его шляпу.

Иван решительно протиснулся ближе, поглядел, затем бесцеремонно раздвинул тесный кружок зрителей и очутился рядом с силачом.

- Дозволь, дяденька, попробовать.

- Штаны-то побереги, малый, и так заплаты некуда ставить, - беззлобно сказал обладатель гирь. - Ты сначала объявись, а то живот надорвешь, и в поминание не запишут.

Кругом засмеялись.

- Дозволь, господин хороший, - не то прося, не то требуя, повторил Иван.

И, не дождавшись разрешения, сбросил армячишко, нагнулся и легко, играючи, поднял гири. В толпе ахнули. Оборванец держал двухпудовики на мизинцах.

- А так можешь?! - выкрикнул Иван и, подбросив гирю, поймал ее на грудь.

- Постой, постой, откуда ты такой выискался? - С этими словами на помост взошел грузный мужчина, одетый по-господски. Он глядел дружелюбно.

- А еще что можешь?

- Он все может, силы великой, Константин Иванович, - услужливо подсказали в толпе.

Не слушая, тот, кого назвали Константином Ивановичем, обратился к толпе:

- Пятак есть у кого? Отдам гривенник.

Чья-то рука протянула ему толстый медный пятак.

- Согнешь? - задорно спросил он у Ивана.

- Попробовать надо, а жалко.

- Моя воля - мой расход. Не обижу. Ну?

Иван помял монету в пальцах. Она не поддавалась.

- А ты сядь на нее, - посоветовал чей-то насмешливый голос.

- Зубами ее, зубами...

- А ну, цыть! - прикрикнул Константин Иванович. - Ты откуда такой будешь?

- Дальний я, талызинский, - ответил Иван.
- Работа есть?
- С ватагой пришел. Рассчитался я.
- В дворники ко мне пойдешь? Сыт, обут, одет будешь. Не обижу.
- Отчего ж не пойти, ваше степенство?

Константин Иванович Меркурьев, один из совладельцев известной фирмы "Братья Меркурьевы и компания", славился не только своим богатством, но и страстью к борьбе и тяжелой атлетике.

Было Меркурьевых пять братьев. Все как на подбор силачи. Был у них в Царицыне добротный дом, а во дворе построили они нечто вроде небольшого зала для гимнастических и атлетических упражнений.

Привез Меркурьев Ивана домой, поселил во флигельке, стоявшем в глубине двора. Там было прохладно, пахло мятой и еще какими-то травами. В стенку были ввернуты кольца, на полу лежали матрасы, набитые не соломой, а волосом, стояли диковинные машины, впервые увиденные Иваном - велосипеды. Поупражнявшись с гирями, которых тут была целая семья - от пудовой до пятипудовой, братья начинали бороться. Константин Иванович был здесь за старшего.

Поначалу он заставлял Ивана приглядываться. А потом раз за разом стал вызывать на борьбу с братьями. Сам Константин Иванович не принимал в ней участия.

- Ты, брат, все-таки больше силой берешь, - наставительно говорил он Ивану, который без труда укладывал всех его младших братьев. - А одной силой многого не добьешься. Надобно и уменье. Не зря говорится: "Велика Федора, да дура". Тебя борец втрое слабее положит на лопатки. Вот, гляди-ко.

И Меркурьев-старший показывал ему серию борцовских приемов. Непонятные слова - "суплес", "рулада", "тур де бра", "нельсон", "партер" и десятки других постепенно раскрывали свой смысл.

- Одна сила не делает борца, - любил говорить Константин Иванович. - Еще голова со смыслом нужна. Чем башковитей борец,

тем труднее его победить. Борцу надобны быстрый ум, хладнокровие, расчет.

Однажды хозяин принес Ивану книжку.

- Вот, читай. Яков Кох, чемпион мира, написал. Самоучитель французской борьбы...

Иван недоуменно повертел ее в руках, полистал, протянул обратно.

- Бери, бери.

- Я, ваше степенство, грамоте не обучен.

- Вот те раз! - изумился Меркурьев. - Тебе сколько лет?

- Двадцать...

- Это, брат, вовсе никуда. Какой же из тебя атлет, раз ты свою фамилию написать не можешь.

Вечером хозяин прислал к нему приказчика Тимофея со строгим наказом - обучить Заикина азбуке и чтению.

- Ну, Заика, медведь ты этакой. Гляди на буквы и запоминай. Это аз... Ученье продвигалось быстро. Помогла природная сообразительность Ивана. И через две недели он уже читал по складам.

После букваря первой его книгой стал самоучитель французской борьбы. Он прямо-таки с удовольствием водил пальцем по строчкам, выговаривая вслух и по ребячьи радуясь каждому слову.

- ...Пол-ное ру-ко-вод-ство фран-цуз-ской, или гре-ко-рим-ской, борь-бы и ат-ле-тики... Ишь ты, как складно: Руко-вод-ство...

Жизнь текла спокойно и размеренно. Хозяева покровительствовали своему дворнику. Они видели в нем восходящую звезду российского спорта. И, кто знает, может удастся когда-нибудь погреть руки на огне чужой славы. Меркурьевы были промышленниками, торговцами и к бескорыстному увлечению спортом помаленьку примешивали расчет.

В блестящей будущности Заикина никто не сомневался. И не раз глава дома с восхищением оглядывал атлетическую фигуру Ивана, скребущего полы в прихожей, приговаривая:

- Эко чудо господь сотворил. Чистый Илья Муромец.

И кричал ему, топя в грубой шутке свое восхищение:

- Легше, жеребец. Протрешь пол-то. Ишь, как выперло тебя. В телегу впору впрячь...

Меркурьевы не изнуряли молодого Заикина работой по дому. Только постепенно загружали его упражнениями в своем "гимнастическом зале".

Константин Иванович сам занимался с Иваном. И хоть он был крепок и силен и запросто орудовал двухпудовыми гирями, дворник без всяких усилий подминал его под себя.

- Ты что это над хозяином творишь? - тяжело пыхтя и отдуваясь, полусхусть-полусерьезно набрасывался он на Ивана. - Забыл, кто я таков?! Прогоню, жеребец ты этакой.

- Вы сами приказали, ваше степенство.

- Приказал-то приказал. Да нешто я велел себя мять?

- Да я легонько ведь, - оправдывался Иван.

- Легонько! - передразнивал его Меркурьев. - Не заметишь, как и придушишь...

День за днем набирался умения новый дворник. Становился ловчее, постигал все хитросплетения приемов классической борьбы. Он твердо помнил и науку Пытлясинского: "Борец должен быть хитрым, расчетливым, смелым, даже против сильнейшего противника".

Настал день, когда Константин Иванович с удовлетворением сказал:

- Ну, брат, завтра у нас в цирке чемпионат открывается. Будешь бороться. И добавил:

- Большому кораблю большое плаванье. Иван Заикин выходил на арену всероссийского спорта.

Большому кораблю - большое плаванье

- Говорил я тебе давеча: большому кораблю- большое плаванье.



По моему слову и вышло, - начал Константин Иванович. - И немцасилача уложил, и японского чемпиона припечатал. Теперь твоя дорога в Санкт-Петербург. Сообщил я их сиятельству графу Рибопьеру, что есть у меня такой Ванька, силы необыкновенной, в дворниках служит. И вот ныне ответ получил. Повелевает их сиятельство послать тебя на всероссийский чемпионат Санкт-Петербургского атлетического общества, председателем которого граф состоять изволит... Заруби себе

на носу: ежели ты графу понравишься, - широкая дорога перед тобой откроется, - понизив голос, продолжал Меркурьев. - Смеяйка: покровителем общества состоит брат самого государя-императора. Крепко я на тебя надеюсь, что не посрамишь моёво имени. В грязь лицом не падешь.

- Да как же так, сразу?.. Боязно мне что-то, ваше степенство. А ну какой барин на меня осерчает, как давеча? - заволновался Иван.

Меркурьев расхохотался. Глядя, как комично подпрыгивает от неудержимого смеха борода хозяина, Иван тоже не удержался и прыснул.

- Ох ты, волжская к-кость, у-м-морил, право, - выдавил Константин Иванович, еле отдышавшись. - Есть у нас на Руси поговорка: "Исполать тебе, молодец, что чисто борешься". Слышал? Али еще: "Хоть мужик, хоть князь, - кто слабей, тот в грязь". Чести боле тебе будет, коли ты барина-то припечатает. За всю свою мужицкую каторгу расплатишься.

Меркурьев неожиданно нахмурился и оборвал, видно почувствовав, что сказал лишнее.

- Ну, хватит! Неча тут байки сказывать. Езжай, и делу конец.

Новая жизнь блеснула перед робким, несмотря на диковинную силу, деревенским парнем, знавшим до сих пор лишь горечь нищеты и унижений. Жизнь, полная славы и почета. Высота, на которую взобрался недавний бурлак Иван Заикин, показалась ему головокружительной. И лишь спустя много лет этот прямой наследник русских былинных богатырей понял, что слава эта - лишь дань его таланту и что он, сын трудолюбивого народа-титана, заслужил ее сполна. Туманный Петербург пробудил в душе Заикина неведомое дотоле чувство - чувство преклонения перед красотой, перед силой человеческого гения, создавшей эти неповторимые ансамбли. Он без усталости бродил по городу, любуясь спящими громадами зданий, бронзовым Петром, вздыбившим горячего коня, чеканным силуэтом Аничкова моста, перешагнувшего через Неву...

А затем начались дни, полные напряженных тренировок. В ту пору в цирке Чинизелли проходил еще и международный чемпионат по классической борьбе. Сюда съехались знаменитые борцы-чемпионы мира - французы Поль Понс, Рауль ле Буше, Эмабль де ля Кальметт, болгарин Никола Петров и многие другие. Россию представляли ставший уже тогда легендарным Иван Поддубный, Георг Лурих, один из первых учителей Заикина Владислав Пытлясинский...

В перерывах между тренировками Заикин пробирался в цирк, где день за днем шли схватки борцов. Он с восхищением следил за Иваном Поддубным. Тот одного за другим припечатывал к ковру всех своих соперников. Сбежал с арены "непобедимый" чемпион мира Рауль ле Буше, почти двухчасовая схватка Поддубного с другим чемпионом мира Полем Понсом закончилась победой бывшего портового грузчика.

...Никто в легкоатлетическом клубе не обращал серьезного внимания на безвестного атлета. Никто не мог видеть в нем сколько-нибудь серьезного конкурента на призовое место в

поднятии тяжестей. Правда, знатоки и сам президент общества граф Рибопьер отдавали должное физическим качествам этого "мужика". Но ведь "мужик" почти не владел техникой - этим важным, решающим качеством для гиревика.

Иван же, на удивление всем, показывал от тренировки к тренировке все более высокие результаты.

Он шел вперед, с ошеломляющей быстротой овладевая техникой толкания и вырывания штанги, на диво своим учителям. Феноменальная сила в сочетании с умением помогали ему не отставать от тройки лучших.

Наступил, наконец, день состязаний. Иван заметно волновался, глядя, как ловко орудует штангой его основной соперник петербуржец Элкснитт.

- Господин Заикин вызывается на помост, - выкликнул судья.

Полно, не ослышался ли он? Его, дворника, назвали господином. Он нерешительно вышел на арену. Поклонился...

Первая попытка - толчок правой рукой. На штанге предельный вес, показанный Элксниттом.

Трижды толкал Заикин штангу. Третий результат - 190 фунтов - на 20 фунтов больше петербургского гиревика. В толчке и рывке левой он тоже опередил его на 20 фунтов.

- Звание чемпиона России по поднятию тяжестей выиграл господин Заикин из Царицына, - торжественно объявил судья.

Граф Рибопьер, недовольно выпятив нижнюю губу, приколол на грудь Ивана золотую медаль. Он был явно раздосадован. Какой-то мужик, дворник, становится чемпионом России. А феодосийский грузчик Иван Поддубный кладет на лопатки его знаменитых соотечественников.

"Грубая страна, грубый, непонятный народ", - думал он.

- Поздравляю, господин Заикин, - граф изобразил на лице некое подобие улыбки и осторожно протянул Ивану два пальца. - Работайте, занимайтесь атлетикой и борьбой. На этом поприще вы, несомненно, добьетесь успеха.

- Поздравляю еще одного Ивана! - кто-то хлопнул его по плечу,

да так, что Заикин едва устоял на ногах. Сам Поддубный!

- Треба нам побалакати, милый друже.

Москва, Тифлис, Баку, Астрахань... Чемпионат следует за чемпионатом. В схватках на ковре оттачивается мастерство Заикина. Он стремителен, ловок, находчив. Удача сопутствует ему. Владельцы лучших русских цирков - братья Никитины, Саламонский, Чинизелли, Труцци - наперебой стараются заполнить его к себе.

Предприимчивый француз Шарль Дюмон, организатор Петербургского чемпионата, который закончился триумфом Поддубного, решил устроить схватку двух "Иванов великих".

- Ви знайт: зафтра ваш очеред выходить эн арена с Поддубни, - предупредил Заикина Дюмон. - Я желай вам победа. О, конешно, мсье Поддубны - лев. Но ви... этот урсус-медвед. Медвед может побеждает лев. Вот так! - и Дюмон, засмеявшись, ударил Заикина скрюченной ладонью по затылку.

- Смотри, Ваня, положу я тебя, - добродушно поддразнивал Поддубный. - Я попрошу Дюмона объявить завтра: кто продержится против меня двадцать минут, тому выложу две сотни карбованцев чистоганом.

Заикин обиделся.

- Думаешь, не продержжусь?

- Ан нет!

- Считаю, что двести рублей у меня в кармане.

- Ось воны. И отсюда никуда не пойдуть! - Поддубный вытащил пачку ассигнаций и похлопал ими по лбу Заикина. - Выбью дурость из головы: не зазнавайся, не кажи гоп, як ще не прыгнув.

...Истекала восемнадцатая минута схватки. Поддубный перевел Заикина в партер. Но больше ничего сделать не мог.

- Эх, дожди ты его, дожди! - оголтело кричал кто-то Поддубному из первого ряда.

Неожиданно Заикин вывернулся из железных объятий своего противника и вскочил на ноги. Оба тяжело дышали. Поддубный снова медленно пошел на Заикина: неуловимое движение, и Заикин

тяжело грохается на площадку арены.

- Нет, я ему еще покажу, - мелькает в его разгоряченном мозгу. И Заикин вскрикивает от боли: из плеча фонтаном хлещет кровь.

Откуда-то из-за кулис вынырнул бледный врач, надевая на ходу пенсне. - Порваны мышцы плеча, разбит сустав, повреждены связки, - констатировал он. - Результат удара о доски.

- Долго ему придется лежать? - волнуясь, спросил Поддубный.

- Месяца два, никак не меньше.

- Держи, Ваня, я проиграл. Пожалуй, мне пришлось бы и больше двадцати минут с тобой повозиться. - И он протянул Заикину скомканные ассигнации.

- Нет, друг, рано мне с тобой тягаться, - через силу выдавил Заикин.

К "дяде Ване"

Начало девятисотых годов - пора повального увлечения борьбой в России. Борются всюду - мальчишки на пыльных улицах и взрослые на ярмарочных площадях, меряют силу в рыночных балаганах и каменных мешках городских дворов. Не было кочевой цирковой труппы без борцов и силачей, гнувших железо и рвавших цепи, жонглировавших громадными, часто бутафорскими гириями.



Поясная борьба - одно из любимых народных развлечений - стала непременным номером цирковой программы. Благо, и особого реквизита для нее не требовалось. Был бы только прочный пояс - кожаный, матерчатый - все равно. Да и сама техника борьбы была проста. Вставали борцы друг против друга, крепко упершись ногами в пол, брали друг друга за пояса или кушаки. А там - "кажи силу". Не отрывая рук от пояса, старайся положить противника на обе лопатки.

Непревзойденным мастером борьбы на кушаках был многократный чемпион мира, "чемпион чемпионов" Иван Поддубный. "Спортивной купелью" этого русского феномена стал цирк Бескоровайного, приехавший на гастроли в Феодосию, где Поддубный в ту пору работал портовым грузчиком. Цирк, как водится, показывал поясную борьбу. И грузчик Иван Поддубный, упросивший антрепренера принять его в состав чемпионата, в первый же вечер стал триумфатором, положив одного за другим всех его участников в том числе и будущего чемпиона мира по французской борьбе Георга Луриха.

Лишь с Петром Янковским, выступавшим под именем "Урсус" - медведь, - схватка Поддубного закончилась ничейным результатом.

Знаменитый "Урсус" весил более девяти пудов - такого с места не стронешь, - да и был куда опытнее новичка Поддубного, знал толк в борцовских приемах. Он прославился в спортивном мире России победами над чемпионом мира болгаринном Николой Петровым, европейскими знаменитостями немцами Фоссом и Гассеном.

Тем временем в Европе стала все больше входить в моду греко-римская, она же французская борьба, та что ныне именуется классической. Завоевала она и Россию - ее спортивные подмостки и уж конечно цирковые арены. Это было повальное увлечение, с быстротой пламени охватившее страну. Не было мало-мальски крупного города, где бы не проходили борцовские чемпионаты. Любовь к этому виду спорта овладела всеми, не исключая и русскую интеллигенцию.

Кого только ни перевидал борцовский ковер в эту пору! Французы и турки, шведы и немцы, негры и итальянцы, чемпионы и экс-чемпионы, аристократы и бурлаки - все, кто был наделен силой, выступали в цирках.

Но обычная борьба показалась вскоре зрелищем пресным. И тогда ее стали театрализовать. Спортивная часть стала помаленьку уступать развлекательной. На арене появились великаны, "дикари", посаженные на цепь и глодавшие сырое мясо на глазах у публики, "пещерные люди", всевозможные "маски", неожиданно появлявшиеся в цирке и вызывавшие всех участников чемпионата. Недостаток в неграх восполняли Ивановы, Петровы, Сидоровы, добровольно или по принуждению хозяина мазавшиеся дегтем или ваксой.

Е. Кузнецов, известный историограф русского цирка, пишет: "Тысячные толпы проявляли лихорадочный интерес к борцам, заполняя цирк к десяти часам вечера, когда куца программа оканчивалась и начинался чемпионат. Чемпионаты растягивались до трех недель, до полутора месяцев, до трех месяцев, наконец они переезжали из города в город, выделяли любимцев публики... Цирк без чемпионата стал одинаково немислим и в столице и в провинции..."

Учуяв запах наживы, борьбу немедля захватили в свои руки

разного рода дельцы. Это они заставляли способного борца лезгина Хасаева изображать африканского людоеда, посадив его на цепь в яму, а галичанина "Циклопа", по рекламе - "пещерного человека", кормили сырым мясом прямо на арене. Они заранее предопределяли, кто кого должен положить на лопатки. Возникла даже своеобразная терминология: борьба "в бур" - честная, и "шике" - показная, когда исход борьбы решали антрепренеры.

И вскоре борьба из увлекательного спортивного зрелища превратилась в плохое подобие ярмарочного балагана. Не выдержав этого, ушел из цирка в 1910 году "чемпион чемпионов" Иван Поддубный, ставший хлебопашцем в своем родном селе.

Иван Заикин, разумеется, был участником многих провинциальных чемпионатов. Однажды он получил письмо, приглашавшее его в Петербург для участия в "самом крупном чемпионате России". Письмо подписал знаменитый "дядя Ваня" - Иван Владимирович Лебедев.

Своеобразна биография этого к тому времени крупнейшего постановщика борцовских чемпионатов. Журналист, актер, редактор-издатель спортивных журналов, а по образованию юрист, Лебедев был и сам незаурядным тяжелоатлетом и борцом.

Приглашение Лебедева, сулившего златые горы - 300 рублей в месяц, деньги по тем временам громадные, - а также участие в чемпионате самых сильных борцов, каких только знала тогда Россия, пришлось по душе Заикину. Он распрощался с Ростовом, где его застало письмо "дяди Вани", и поспешил в Петербург.

- Здорово, дружище! Рад тебе сердечно, молодец, что приехал. Ждут тебя все с нетерпением. И публика оповещена. Как узнала, что Заикин будет, так полна касса. Завтра выходишь. А пока давай, дружок, побалакаем, попьем чайку.

За чаем Лебедев расспрашивал Ивана о том, чем он занимался в Ростове.

- Железо гнул? Ничего, дружок, и это мы устроим. Сначала будешь бороться, а потом подготовим тебе карусель и номерок с якорем. Тут я припас хороший якорек пудов эдак на двадцать пять.

Только никто не берется его поднять. Предлагал Луриху, тот только рукой махнул: это, говорит, не по мне. Это только Заикин с Поддубным могут. А мне не ко времени калекой становиться.

Заикин был польщен. Потягивая из блюдечка горячий чай, он добродушно улыбался. А Лебедев вкрадчиво продолжал:

- Вот, голуба ты моя, какая у меня к тебе просьба: будешь бороться с Абергом - ляжешь...

Иван вскочил. Блюдце, жалобно звякнув, брызнуло фонтаном осколков.

- Нет, хозяин, не будет по-твоему. Ложиться под Аберга я не буду, да и вообще ни под кого... Лучше уж борьбу отставить - буду выступать с железом.

- Да ты не горячись, голуба моя, - не повышая голоса, продолжал Лебедев. - Ну что тебе стоит лечь. У нас все ложатся. Даже вон Поддубный, уж на что горяч, а согласился Луриху поддаться.

- Нет, Иван Владимыч, вот уж этому я никогда не поверю. Не продаст Максимыч свою совесть ни за какие деньги. Да и мне это ни к чему. Публика знает, что супротив меня Аберг ни за что не устоит.

- Ну ладно, тезка, не обижайся, - примирительно сказал Лебедев, желая загладить инцидент. - Будешь выступать с железом. Потом поглядим, может, сладимся. А блюдечко, голуба моя, ты мне откупи. Чтобы дружба наша ненароком не растрескалась да не разбилась. Того обычай требует. И точно в таких же цветочках.

Устоять против содержателей борцовских чемпионатов было делом далеко не легким. Заикин быстро почувствовал это. Коммерция прочно водворилась на ковре. Возмущенные голоса Поддубного, Заикина, Вахтурова, Шемякина глохли - диктатором стала цирковая касса.

И тогда Иван Заикин стал "работать с железом". На Тагильских заводах он под восторженные крики зрителей шутя гнул восьмидюймовые железные балки, вязал узлы из прутьев, рвал цепи руками.

В Москве, в цирке Труцци, Заикин был официально коронован

как "король железа" и "единственный в России атлет". Он гнул на плечах строительные балки, носил на себе целый духовой оркестр, вдавливал пальцем трехдюймовые гвозди в доски...

Газеты с удивлением и восторгом описывали заикинскую карусель. Это было воистину редчайшее зрелище. На плечи силача укладывался рельс. На концах его повисало по полтора-два десятка зрителей. Под звуки марша Заикин проносил их вокруг арены, а затем кружил. По его команде они рывком, обвисая на концах, гнули балку.

...Взгромоздив на плечи двадцатипятипудовый якорь, Заикин описывает полный круг по арене. Неожиданно богатырь резким рывком бросает якорь. Здание цирка вздрагивает, а железная махина входит в опилки почти наполовину. Заикин держал растяжку двух пар лошадей и двух пар верблюдов, поднимал легковой автомобиль, и задние колеса его бешено вращались в воздухе. Корона "железного короля" венчала его чело почти два десятилетия.

Чемпион мира

1908 год... Париж. Почти во всю ширину фасада "Казино де Пари"



протянулось широкое полотнище с гигантскими кричащими буквами: "Всемирный чемпионат борцов".

Цвет борцовского мира - сто двадцать атлетов: Европы, Азии, Америки - съехался сюда оспаривать звание чемпиона мира. Россию представляли Поддубный, Кашеев, прозванный "русским великаном", и Заикин, борец, почти не известный парижанам.

Это была первая поездка волжского грузчика а чужую страну. В ту пору Заикин достиг своей лучшей формы: при росте 182 сантиметра и весе 115 килограммов он был удивительно строен и лёгок в движениях. На родине у него почти не было соперников. А как-то здесь, во Франции?

Иван Михайлович внимательно рассматривал рекламные проспекты, выпущенные организатором чемпионата Дюмоном. Вот братья де ла Кальметт - любимцы парижан, неоднократные чемпионы Франции... Гигант турок Пенгаль... Невысокий, словно квадратный японец Оно-Окитаро... Чемпион мира итальянец Джиованни Райцевич...

Заикин захлопнул проспект и встал.

- Боюсь я, Максимыч, - выдохнул он.

Поддубный, стоявший у окна и любовавшийся панорамой площади Согласия, кишевшей народом в этот вечерний час, резко повернулся и проговорил:

- Ну, это ты, Ваня, оставь. Я их, пожалуй, всех перещупал и

говорю тебе: нас никто не положит. Помнишь, как у Гоголя: нет в мире такой силы, которая бы русскую пересилила...

- Господа, господа, пора ехать, - звонко прокричал чей-то голос в коридоре. - Экипаж подан...

Жмурясь от сильного света, Заикин стоял на нижней площадке "Казино де Пари" и ждал своей очереди. Он жадно ловил слова чужого языка, стараясь услышать, когда рефери произнесет его имя. Искорка спортивного азарта, вспыхнувшая в нем после разговора с Поддубным, неприметно разгорелась и вызвала в душе тот огонь и вместе с тем ту удивительно ясную, расчетливую трезвость, которые были первыми спутниками победы.

- Джиованни Райцевич, Италия...

Огромный зал "Казино де Пари" содрогнулся от рукоплесканий. Чемпион мира Райцевич, нервный, подвижный, стройный, был в этом году кумиром парижан. Итальянец одним прыжком перемахнул через канаты и застыл.

- ...Иван Заикин, Россия, - продолжал судья. Одиночные хлопки потонули в гуле толпы. Тысячи глаз глядели на Заикина. Глядели недоверчиво, насмешливо, подчас враждебно. Они, казалось, говорили: гордость мира - и какой-то неизвестный русский с "мэр Вольга"...

Райцевич, обворожительно улыбаясь и поминутно кланяясь, посылал направо и налево воздушные поцелуи. Заикин угловато поклонился по-русски, в пояс, и стоял прямо, сложив могучие руки на груди и исподлобья глядя на публику внимательными серыми глазами.

Борцы сошлись на середине ковра, и самоуверенный итальянец, не страхуясь, тотчас перешел в нападение. И тут произошло неожиданное. Русский борец неуловимо точно и молниеносно тушировал Райцевича. Это было сделано столь мастерски, что зал замер. Задние ряды вскочили как по команде. После минутного замешательства раздались хлопки. Сначала робкие, одиночные, они ширились, словно снежный ком. И вот уже зал сотрясаясь от рукоплесканий.

- Bravo, русский!

- Молодец, московский медведь!

Изумленные зрители никак не могли понять, что происходит на ковре. Заикин метал Райцевича по всей арене, не давая ему опомниться, и, наконец, эффектно припечатал чемпиона мира лопатками к коврику.

Улыбка судьбы: Заикин положил "непобедимого" итальянца прямо против ложи итальянского посольства.

Крики, хлопки, свист, топанье ногами - все слилось в оглушительный рев восторга. Заикин стоял оглушенный, еще не вполне пришедший в себя, и легкая улыбка блуждала на его лице. А по проходу к арене бежали люди. Их искаженные злобой лица не предвещали ничего хорошего.

- О порка мадонна! Дьябло руссо! - ревел один из них, хорошо одетый, плотного сложения, с густой черной бородой и хищным носом. Вытащив стилет, он одним прыжком перемахнул через барьер...

В то же мгновение из-за кулис вырвался датчанин-велосипедист с огромной железной палкой и, запыхавшись, протянул ее Заикину. Русский борец схватил ее, размахнулся, и железо, резко свистнув, застыло над его головой. Весь настороженный, подбравшийся, Заикин не сразу заметил, что к нему подоспел еще один защитник. Это был англичанин, страстный любитель спорта. Выхватив револьвер, он встал позади, защищая Заикина со стороны оркестра. Итальянцы струсили. Стараясь держаться на почтительном расстоянии от железной палицы, они бросали проклятия в лицо Заикину, который столь быстро расправился с их кумиром.

В толпе, плотным кольцом окружившей арену и нетерпеливо ждавшей развязки, произошло какое-то движение. Задние разбегались, образуя широкий коридор, толкая, давя и колошматя рядом стоящих. Расталкивая не успевших дать ему дорогу, на арену ворвался великан Кашеев с обломком бревна в руках. Итальянцы тотчас ретировались с угрозами и проклятиями.

- Мы перестреляем всех русских! - кричали они. И словно в

подтверждение этой угрозы на улице затрещали выстрелы.

Усиленный эскорт полиции доставил победителя в отель. На следующий день с арены "Казино де Пари" Заикин громогласно вызвал Райцевича на реванш. Он объявил публике, бесновавшейся от восторга, что ставит залог в три тысячи франков. Растерянный импрессарио итальянского чемпиона бросился за кулисы. Через несколько минут он, поникший, сконфуженный, засеменял к главному арбитру чемпионата и стал что-то шептать ему на ухо, то разводя руками, то ударяя себя в грудь, то молитвенно складывая ладони.

Главный арбитр - досадливо поморщился, шагнул вперед и громко объявил:

- Мсье Райцевич не принял вызова. Его импрессарио заявил, что он торопился куда-то. Он так торопился... - главный арбитр сделал паузу, и неожиданно по его лицу поползла улыбка, - что уехал из казино... в трико и халате.

Доселе Заикин был увенчан короной "короля железа". В Париже на него была торжественно возложена муаровая лента чемпиона мира.

Море начинается в небе

Поезд подъезжал к Одессе.

Убегали назад пыльные сады с белыми мазанками, просвечивавшими сквозь тусклую зелень, словно осколки зеркала. Потом потянулись длинные закопченные строения, дымившие трубами, каменные коробки домов, запертые заборами точь-в-точь как звери в загонах.

Паровоз сипло загудел, и вагоны, наталкиваясь друг на друга, стали замедлять ход.

- Одесса, господа! - просунулась в дверь голова кондуктора.

- Пойдешь в номера или знакомые какие тут есть? - спросил его борец Григорий Самохвалов, прозванный за свою страсть к лошадям Гришкой-лихачом.

- В номера, вестимо. Куда все, туда и я. Толпа подхватила их и понесла к выходу. На привокзальной площади гудел народ, выстроились ряды извозчичьих пролеток.

"Ишь, как галдят. Будто на базаре", - подумал Иван, с интересом оглядываясь вокруг. Народ здесь и в самом деле был непривычно говорлив. Извозчики тянули приезжих за полы, хватались за их пожитки, бесцеремонно заглядывали в лицо. В них - смуглых, бородатых, кричавших нараспев гортанными голосами - было что-то цыганское, и Заикин с невольным опасением крепче прижал к себе свой сундучок.

Лихач, заметив его жест, усмехнулся и лениво сказал:

- Не бойсь, у такого, как ты, не упрут. Побоятся.

Наконец сторговали извозчика. Лихач зачем-то обошел лошадь со всех сторон, даже задрал ей губу и заглянул под брюхо.

- Вижу, господин понимает в лошадях. Это же не конь, а чистое золото, - пропел извозчик. - На нем я могу свезти вас хоть в Петербург, к самому царю-батюшке.

Взгромоздились в пролетку, застонавшую под их тяжестью. Возница испуганно цокнул.

- Я же без колес останусь. С таких господ надо брать двойную плату.

Пролетка, бренча крыльями, покатила к центру.

- Ты и впрямь, как лихач, вокруг лошади-то ходил, - ухмыльнулся Иван.

- Конюхом был. Потом возчиком, - добродушно ответил Самохвалов. - Потому и лошадей люблю. И они меня понимают.

"Нумера" оказались большим каменным домом с темными закоулками и переходами, с длинными коридорами, в которых стоял густой запах плесени и пота.

Комната, в которую провел их коридорный, была, на счастье, светлой. В ней, кроме двух неуклюжих кроватей, облезлого кресла, продавленных гнутых стульев да линиялых ситцевых занавесок, ничего не было. Зато в окнах открывалась панорама города, сбегавшего к морю, виднелись серые туши кораблей, - стоявших у портовых причалов или осторожно пробирававшихся к выходу среди разной плавающей мелюзги - лодок и буксиров, парусников и шаланд. А дальше - сколько хватал глаз - темно-синяя гладь моря, сливавшаяся у горизонта с небом.

Иван, прильнув к окну, с жадностью рассматривал открывшуюся ему картину.

- Пойдем, что ли, - тронул его за рукав Лихач. - Пожевать надо.

Заикин, не отвечая, оторвался от окна и зашагал за Самохваловым. По темной лестнице, которую почти не освещали редкие газовые рожки, они спустились вниз, в "заведение". Здесь все было просто и грубо, как в номере. За простыми деревянными столами сидели и галдели люди. Сквозь маленькие оконца с трудом пробивался дневной свет. Сизые облака табачного дыма заволокли сидящих, и Заикин не сразу разглядел борцов своей труппы. Они примостились в самом дальнем углу, сдвинув два стола.

- Эвон наши-то! - воскликнул Лихач. - Уже устроились, - протянул он с завистью.

Они подошли. В компании борцов было несколько незнакомых. Один из них сразу бросился в глаза Заикину. Рослый, меднолицый,

с копной ярко-рыжих волос, он был в центре внимания собравшихся. И хотя незнакомец больше молчал, все старались завладеть его вниманием.

Компания встретила Заикина и Лихача дружескими восклицаниями.

- Рекомендую: новая звезда арены, чемпион России по поднятию тяжестей Иван Симбирский, - шутливо выкрикнул антрепренер. - Заткнул за пояс всех петербургских знаменитостей вместе с графом Рибопьером.

Иван пожимал руки, смущенно бормоча "очень приятно".

- Ут-точ-кин! - привстал незнакомец и церемонно поклонился.

- Заикин, - еще больше смутившись, произнес Иван.

- Н-но-н-но, - воскликнул Уточкин. - Н-наконец-то я н-на-шел вас, м-молодой человек. В-вам не к-ка-жется, что вы присвоили м-мою фамилию? Эт-то я долж-жен был бы наз-зваться З-аикиным.

Иван не сразу понял шутку и покраснел. Кругом захохотали. Улыбался и Уточкин. Дружески хлопнув Заикина по плечу, он усадил его рядом с собой. Вскоре они были уже на "ты". Уточкину понравился этот молодой гигант, стеснявшийся и робевший совсем по-детски. Заикин не курил, и Сергей Исаевич, сам не терпевший "дьявольского зелья", преисполнился к нему еще большего благоволения.

- У к-курильщика т-труха, а не лег-кие. К-курец для спорта п-потерян. Ишь, к-какие т-тучи р-развели, ч-черти, - ворчал он.

Узнав, что Заикин впервые в Одессе и еще не был на море, Уточкин просиял.

- Идем, д-дружище, покажу т-тебе к-красавицу Одес-су. И м-море. А т-то м-мы с т-тобой т-тут з-за-дохнем-мся.

Они попрощались и вышли, сопровождаемые недовольными возгласами. Как только дверь за ними закрылась, Уточкин облегченно вздохнул и крупно зашагал вперед, увлекая за собой Заикина.

На Дерибасовской он взял своего новоиспеченного друга под руку. Иван с удивлением наблюдал, как велика популярность

Уточкина. Чуть ли не каждый встречный приветствовал его поклоном: одни почтительно, низко сгибаясь и снимая шляпы, другие - с едва уловимой насмешливостью, третьи - по-дружески, сердечно.

Вскоре их окружила свита горластых одесских мальчишек. Они скакали на почтительном отдалении, выкрикивая: "Уточкин, рыжий пес!" "Батка рыжий, мамка рыжа, сам я рыжий..."

Заикин вскипел, но, скосив глаза на Уточкина, увидел, что тот только насмешливо улыбается.

- Эт-то они п-по любви ко мне. Хотят об-братить внимание.

Он остановился и поднял руку.

- Ш-ша, я уже знаю. С-ступайте домой, а з-зав-тра п-приходите на ип-подром: будут велосипедные г-гонки.

Мальчишки исчезли, словно спугнутая стайка воробьев. А они продолжали путь. Французский бульвар был полон гуляющими. Уточкин шел своей легкой пружинистой походкой. Казалось, еще мгновение - и он оторвется от земли и взлетит к небу - столько избыточной энергии рвалось наружу из этого человека, бывшего такой же одесской достопримечательностью, как бронзовый дюк Ришелье или знаменитая одесская лестница.

После долгого молчания Уточкин неожиданно заговорил:

- Этот припев сопровождал меня всю жизнь. Что ты хочешь - рыжий заика. Я был хил и тшедушен, неповоротлив и беспомощен. Меня дразнили все кому не лень. И тогда я решил: надо быть первым. Да, первым - и во всем, за что ни возьмусь. Я стал тренироваться: тайно ото всех, а то меня бы подняли на смех.

И стал первым. А все равно дразнят, черти. Я для них не чемпион. Я так и остался рыжим псом, городским сумасшедшим, потому что Одесса тоже хочет иметь своего сумасшедшего. А мне через год тридцать, Уточкин говорил с горечью. Она никак не вязалась с насмешливой улыбкой, блуждавшей на его лице.

- Я добился своего - стал одесским сумасшедшим. Знаменитым, как этот дюк. И все-таки я люблю Одессу. Это же Париж, черт возьми, или Марсель или Неаполь. Итальянцы говорят: посмотри на

Неаполь и умри, все равно, мол, ничего лучше в мире не увидишь. А я говорю: посмотри на Одессу и живи. И не будь я Уточкин, если тебе не захочется жить...

Уточкин улыбнулся. Они спускались по лестнице к порту. Огромное солнце, медное, начищенное, колыхалась в такт их шагам. Вот оно наткнулось на черную железную трубу, и расплавленная медь растеклась по оконным стеклам, по листве платанов, по крышам.

Море мирно лизало деревянные сваи; ноздреватые каменные глыбы, обшивку кораблей. Оно было добрым, это одесское прирученное море.

Они разделись и кинулись в его мягкие теплые объятия. Заикин - волгарь - с восхищением, к которому примешивалось немножко зависти, видел, что и вода для Уточкина - такая же привычная стихия, как земля. Он и здесь, в море, был чемпионом: гибкое тело его скользило с дельфиньей быстротой. С мостков раздались выкрики:

- Когда море горит? Когда рыжие купаются!

На берегу приплясывали неугомонные мальчишки. С наслаждением плескаясь в воде, он видел, как Уточкин подплыл к берегу, поманил мальчишек и повел с ними какой-то разговор, - розовый, стройный, с атлетически развернутыми плечами и узкой девичьей талией, похожий издали на слугителя морского бога. Мальчишки разделись и с визгом бросились в воду. Уточкин предводительствовал ими. Он показывал какие-то замысловатые фигуры, нырял, кувыркался, криками подбадривая несмелых.

Освеженные, благодушно настроенные, они возвращались в город.

- Завтра гонки, Ваня. Я тебя заташу на ипподром - надо и тебе стать велосипедистом. А потом мы с тобой выйдем в море на яхте...

Уточкин был полон планов. Планы просто распирали его. Не было такого вида спорта, в котором бы он не пробовал свои силы. И при всем при том он не был дилетантом. Верный своему правилу во всем быть первым, он настойчиво вырывался вперед. А

выравшись, став чемпионом, мало-помалу охладевал к недавнему увлечению, и стоило появиться какому-нибудь новшеству, как он тотчас отдавался ему со всей страстью, на какую был способен.

- Стой! - И Уточкин замер у афишной тумбы, потянув Ивана за рукав. На большом листе бумаги был изображен воздушный шар, похожий на оранжевое куриное яйцо. Под ним болталась корзинка с человечком.

- Полеты всемирно известного воздухоплователя господина Древницкого, - заикаясь от волнения больше обычного, читал Уточкин. - Монгольфьер поднимает желающих из публики...

- Я - ж-желающий! - вскричал он.

- И я! - заражаясь энтузиазмом Уточкина, подхватил Заикин.

- Полетим, Ваня! - хлопнул его Уточкин.

- Беспременно, Сергей Исаевич! - С Уточкинским он был готов идти в огонь и воду.

На следующий день они отправились на розыски Древницкого. Повел их приятель Уточкина, известный всей Одессе велосипедист Иван Сошников.

Сошников привел их на Большой Фонтан. Там, на самом берегу моря, высилось неказистое строение, сложенное из каменных глыб, верно какой-то склад. Оно было обнесено каменным же забором.

Место было пустынное. Две козы щипали редкую травку, чудом пробившуюся сквозь каменистую почву. Где-то внизу мерно рокотало море. Пахло смолой, рыбой и просоленным деревом. Так пахнут рыбацьи шаланды, вытасенные на берег.

Уточкин недоуменно пожал плечами.

- Нашел место. Сюда же никто не придет. Они протиснулись в узенькую калитку. Просторный двор был пустынен. В углу были сложены бухты канатов, ящики, бревна, доски, а в центре желтела большая куча соломы.

Навстречу им поднялся сморщенный старичок. Он был бос, в рваных портах и без рубашки.

- Скажи-ка, папаша, тут ли господин Древницкий? - спросил его Сошников.

- Это который? С шаром?

- Он самый.

- Нету их. В город ушли. Уточкин чертыхнулся.

- Может, подождем? - предложил Заикин. Они топтались на месте, не зная, что предпринять, как вдруг во дворе показался худой, тщедушный человечек, довольно небрежно одетый, похожий не то на мастерового, не то на приказчика.

- Вам кого, господа?

- Вы не знаете, когда будет господин Древницкий? - с надеждой обратился к нему Сошников. - Вы, верно, у него служите?

Незнакомец отступил на шаг и поморщился.

- Я и есть Древницкий. К вашим услугам...

Наступила неловкая пауза. Человечек был явно раздосадован тем, что его приняли за какого-то мелкого служителя. Он важно достал из кармана толстую сигару, откусил кончик и сунул ее в рот.

- Так чем могу быть полезен? - повторил "всемирно известный воздухоплаватель".

Уточкин подошел к нему и представился. Лицо Древницкого сложилось в подобие улыбки.

- О, премного наслышан о вас, господин Уточкин. Польщен знакомством.

Натянутость первых минут прошла. Они разговорились. Уточкин засыпал его вопросами.

- А солома зачем? А канаты? - Солома - источник газа, канаты будут удерживать монгольфьер, - важно отвечал Древницкий, не вынимая сигары изо рта.

- А когда полетите?

- В воскресенье. Еще не получено разрешение полицмейстера.

Вскоре они были уже друзьями и сообща отправились в ресторан ужинать. Древницкий поминутно вздыхал, жаловался на бедность, на большие расходы, на косность публики, которая не любит платить, а любит только смотреть. Он быстро захмелел и поочередно облобызал всех троих.

- Благодетели вы мои, - лепетал воздухоплаватель. - Всех с собой

беру. Все полетим.

- Это вместо мешков с песком, что ли? - ухмыльнулся Заикин.

- Вот именно, - закивал головой Древницкий. - К черту балласт! И он пьяненько захихикал.

Наступило, наконец, долгожданное воскресенье. Рано утром они были уже на "базе" Древницкого. Воздухоплаватель, весь помятый, желтый и угрюмый, суетился у разложенной на земле оболочки шара, проверяя ее герметичность. Кивком головы он приветствовал всех троих.

- Рад вас видеть, господа. Ну-с, кто полетит?

- Конечно, я! - воскликнул Уточкин.

- Нешто вы меня не возьмете? - обиделся Заикин.

- А как же я? - пробасил Сошников.

Древницкий пожал плечами.

- Не могу рисковать. Четверых шар вряд ли поднимет. Потом, вы, господин Заикин, весите столько, сколько мы с Сергеем Исаевичем.

- А вы песку меньше берите, - предложил. Заикин.

- Если что, мы тебя выкинем, - шутливо протянул Сошников, хлопая Заикина по литой спине. - Ты: вон какой крепкий: упадешь - не страшно.

- Падать-то я привык, - без улыбки подхватил Заикин. - А ежели вам придется - поддержку. Силы у меня хватит. За волосья вытяну, Все рассмеялись.

- Ну, хорошо, хорошо, - примирительно произнес Древницкий.

- Посмотрим, как шар.

Они стали с любопытством наблюдать, как, точно диковинный гриб, росла оболочка шара, поднимаемая силою "газа". Толстые веревочные стропы были предусмотрительно привязаны к прочным дубовым кольям, глубоко вбитым в землю. Заикин и трое добровольцев из публики вызвались держать основные чалки.

Намотав на руку конец, Заикин расставил ноги и врос в землю.

- Нешто я один его не удержу, - бормотал он.

- Не удержите, - услышал его Древницкий. - И потом, надобно делать это равномерно, с нескольких сторон.

Народ мало-помалу прибывал. "Чистая публика" покупала билеты и протискивалась в калитку. Но, большинство толпилось за забором, откуда был отлично виден шар, торчавший, как диковинное яйцо.

Древницкий руководил последними приготовлениями. Вот, наконец, морскими узлами прихвачена корзина, вот шар оторвался от земли и повис, удерживаемый стропами. Воздухоплаватель проверил выпускной клапан, вытер пот со лба и оглянулся. Лицо его болезненно сморщилось.

- Разве это сбор, господа? Тут едва ли сотни две человек наберется.

- Подождем немного, - предложил Сошников.

Древницкий безнадежно махнул рукой:

- Разве Одессу чем-нибудь удивишь? Вот если бы сам царь соизволил подняться со мной, тогда бы народ привалил.

- Едет! - раздалась выкрики.

- Кто? - не понял Заикин. - С-сам полицмейстер, - усмехнулся Уточкин. - Чем не ц-царь, Только наш, одесский.

Полицмейстерская тройка остановилась у калитки. "Сам", выпятив живот и небрежно кивая в ответ на подобострастные поклоны, направился прямо к Древницкому.

- Ну-с, господин воздухоплаватель, у вас все готово?

- Все, ваше превосходительство.

- Тогда можете лететь. Я позволяю.

- А м-мне? - выступил вперед Уточкин.

Полицмейстер осклабился.

- Смотрите не воспламените небеса, господин Уточкин. Мало у нас с вами хлопот на земле...

- Б-бог не выдаст, п-полиция не съест, - парировал Уточкин.

Полицмейстер побагровел, не зная, как отнестись к ехидному ответу прославленного спортсмена. А тот уже забрался в корзину. За ним последовали Заикин и Сошников. Последним залез в корзину Древницкий.

Свежий ветер раскачивал рвавшийся в небо шар. Добровольцы из

публики с трудом удерживали стропы, натянутые как струны.

- Отпускай! Руби! - крикнул Древницкий и махнул рукой.

Шар плавно оторвался от земли и стал набирать высоту. Волшебное ощущение свободного полета охватило Заикина. Волнение и даже легкая боязнь от ожидания неизвестного, заставлявшие частыми толчками биться сердце, - все это отступило куда-то в сторону. Сейчас он чувствовал себя птицей, парящей в небе, вольной и сильной. Хотелось раскинуть руки, кричать, петь. Видно, такие же чувства владели и его товарищами. Он заметил, что и Уточкин, и Сошников, и даже озабоченный Древницкий улыбаются.

- Э-ге-гей! - крикнул он. - Хорошо!

И хотя он крикнул в полную силу легких, звук его голоса заглох, словно утонув в бескрайнем голубом куполе, распростертом над ним.

Заикин выглянул. Внизу маленькими букашками копошились люди. Под ними была Одесса, и он слышал восклицания Уточкина, с трудом узнававшего знакомые с детства места.

Казалось, шар неподвижно висит в воздухе. Ни ветерка, ни колыхания не ощущалось здесь, на высоте полета чайки. И вместе с тем их чувствительно сносило в сторону моря. Утлыми щепками виделись из корзины сновавшие по заливу рыбацьи шаланды.

Шар перестал подниматься и теперь ровно плыл в воздушном океане. Но Древницкий беспокоился.

- Низко идем! - крикнул он. - Боюсь, сейчас начнем терять высоту.

И действительно, шар начал помаленьку снижаться. Теперь явственно ощущалось, что он не стоит на месте, а движется. Причем движется с большой скоростью.

- Бросай мешок! - скомандовал Древницкий. Иван, нагнувшись, поднял тяжелый мешок с песком и на вытянутых руках опустил его вниз. Корзину качнуло, и она на какое-то мгновение скакнула вверх.

- Только бы выйти на косу, - бормотал Древницкий.

Иван пожал плечами.

- Несемся, а ветра нет.

- М-мы, как ветер, чудак-человек! - крикнул Уточкин. - Летим со скоростью ветра, потому и не чувствуем его, - объяснил он, заметив, что Заикин не понял.

Выбросили весь балласт, но шар продолжал угрожающе снижаться. Под ними равномерно колыхалась изумрудная гладь моря. Чайки с пронзительными криками носились вокруг диковинной громады.

- Поживу чувю, - усмехнулся Заикин.

- Я говорил, что нельзя лететь всем вместе, - лепетал бледный Древницкий. - Пропадет теперь шар.

- П-прыгай, З-аика. Эт-то из-за т-тебя, медведя, мы п-падаем! - с веселым отчаянием воскликнул Уточкин.

Они вцепились в борт корзины, которая неслась теперь почти над самой поверхностью моря, едва не задевая белые гребешки волн.

- Буксир! - закричал вдруг Сошников. - Идет на нас!

- Р-разде-вайсь! - озорно блестя глазами, scomандовал Уточкин и стал быстро скидывать одежду. Все последовали его примеру. Только отчаявшийся воздухоплаватель был недвижим.

Корзина мягко коснулась воды, затормозив полет шара. Чуть помедлив, он лег на воду, - сморщенный, огромный, словно туша какого-то ископаемого морского гиганта.

Все попрыгали в воду, кроме Древницкого, который с тупым отчаянием продолжал цепляться за мокрый борт корзины, каким-то чудом державшейся на поверхности.

- А все-таки хорошо мы полетали, братцы, - фыркая и отплеываясь, бормотал Заикин.

- Во всех стихиях побывали, - пошутил Уточкин, не потерявший присутствия духа и хорошего расположения даже в этой ситуации.

Буксир, непрерывно гудя, подходил к месту падения шара, приплясывая на волнах. Длинный шлейф дыма тянулся за ним. Вскоре они уже были на борту и наперебой комментировали свои впечатления. Матросы тралили шар.

- П-поводите корзинкой-то, может и рыбки вытянете, - смеялся Уточкин.

- А мы, Сергей Исаевич, за вами шли, - рассказывал капитан.

- Машина на полных оборотах работает, а все равно не угнались: уж очень вы быстро летели.

- Это он по-чемпионски, - ухмыльнулся Заикин.

- Как же, дозволит вам Уточкин себя обогнать.

Вечером они чествовали Древницкого. Воздухоплаватель был мрачен.

- Одни убытки, одни убытки, - горестно бормотал он.

- Сбора еле хватило на покрытие расходов, шар порван. У меня даже не осталось денег на дорогу, господа. И все из-за вашего безрассудного желания лететь всем вместе. Уточкин подмигнул друзьям.

- М-мы вам компенсируем расходы, господин Древницкий.

Он схватил заикинский картуз и, шутливо раскланиваясь, стал обходить с ним всех сидевших в ресторанном зале борцов и спортсменов.

- П-пожалуйста. Одесса вас р-раз-зорила, Одесса вас одарила.

Скомканные ассигнации посыпались на стол перед Древницким.

- А я теперь не успокоюсь, пока не приобрету ковер-самолет, - шутливо продолжал Уточкин. - Хорошо в небе - городских не видно, полицмейстер не достанет. Да и самому царю-батюшке не угнаться. Разве что архангелов попросит...

- Архангелы - не его ведомства, - вставил Заикин.

- Так что, полетим, Заика?

- Полетим, Сергей Исаич! - подхватил Заикин. Никто из них не предполагал тогда, что этот шутливый разговор через несколько лет обернется явью.

Прием Александра Куприна

Одесса магнитом тянула к себе Заикина. Много городов изъездил он в своих странствиях по России, но здесь, в этом шумливом и пестром, разноязыком и непостоянном городе, насквозь просоленном и продутом ветрами всех широт, дышалось как-то удивительно свободно и легко.



Он приехал сюда в зените своей славы, перепоясанный в Париже лентой чемпиона мира, после триумфальных выступлений на борцовских коврах десятков городов. В антрепризе Петра Ярославцева двадцативосьмилетний Заикин был звездой первой величины.

Едва он появился на Дерибасовской, как борца тотчас облепили поклонники.

- Иван Михалычу - морской привет!

- Рады видеть!

- Почетному гражданину Одессы - виват! К Заикину протиснулся щеголевато одетый молодой человек, увешанный какими-то брелоками. От него исходил густой парфюмерный запах, и Заикин, потянув носом воздух, шутиливо произнес:

- Гляди, Илья Михайлыч, мухи-то облепят - пятнистый станешь.

Это был один из вездесущих одесских репортеров Илья Горелик, устроивший в прошлый приезд трескучую рекламу Заикину. Статьи его были густо сдобрены цветистыми словами и выражениями, вроде "Голиаф русской земли", "неповторимый Атлант, коему под силу удержать свод небесный", "Геркулес, змеей обвивший..." От этого "Геркулеса, змеей обвившего" Заикину было особенно не по

себе, словно его кто-то выругал, но друзья уверили его, что это лучшая и самая высокая похвала. И Заикину пришлось смириться.

Горелик со свойственной ему бесцеремонностью тотчас ухватил борца за рукав и, не вникая в протестам Ярославцева, постоянно сопровождавшего Заикина, потащил его в кафе Фанкони.

- Ему же нельзя пить, господин Горелик. Завтра начинается чемпионат.

- Кофе, дорогой Петр Данилович, черный кофе, единственный и неповторимый напиток, подающийся только у Фанкони, и беседа с друзьями за столиком... - частил репортер, увлекая Заикина.

- Знаю я этот кофе, - брызжал Ярославцев, - напоите до положения риз. Чего же ты молчишь, Ваня! - взмолился наконец антрепренер.

Заикин добродушно улыбался, а Горелик продолжал свое:

- Такая встреча - и не отметить. Грех на вашей душе, уважаемый Петр Данилович. Поклонники и почитатели таланта Ивана Михайловича вам этого не простят, да-с.

Ярославцев безнадежно махнул рукой, но продолжал неотступно следовать за ними.

- Не бойсь, Петя, я не поддамся. Поговорим и разойдемся, - успокоил его Заикин.

Горелик предупредительно распахнул перед ними дверь, и они очутились в полутемном зале.

Час завсегдагаев еще не наступил, и поэтому кафе было скупо освещено. За столиками восседали одиночные посетители, лениво потягивая знаменитый кофе. Горелик звонко щелкнул пальцами, и перед ним тотчас выросла фигура официанта.

- Артист, - одобрительно сказал Заикин. - Прямо как нечистая сила явился. Только серного духу не хватает. Хотя ты, Илья Михалыч, вроде как серным духом и пропитан.

Официант ослабился.

- Если господа желают, и адский дух подадим. У нас для солидного клиента ничего не жалеют.

- Неужто в меню есть адские блюда? - притворно удивился

Заикин.

- Нет, так будут, - успокоил его Горелик. - Для вас, Иван Михайлыч, все из-под земли добудем.

- Ну, так подать мне самого главного чертяку на золотом блюде! - засмеялся Заикин.

- Сей момент устроим, - Горелик с таинственным видом поманил к себе официанта. - А что, Александр Иванович еще не был?

- Никак нет-с. Они позднее будут.

- Это ты про кого? - поинтересовался Заикин.

- Александр Иванович Куприн, новомодный писатель. Служил в армии, вышел в отставку. Был актером, маркером, репортером, токарем, кочегаром, грузчиком, циркистом. Богатой жизни человек, одним словом. Армейское начальство анафему ему провозгласило за "Поединок", а... - тут Горелик понизил голос и оглянулся, - лейтенант Шмидт руку жал. Горький свое восхищение выказал, Лев Толстой благословил...

Заикин слушал этот монолог со смешанным чувством любопытства и удивления. Дворянин, офицер, и вдруг - грузчик и токарь, циркач и кочегар. Видно, жизнь беспощадна не только к простому люду. Писатель... Его, крестьянского сына, бурлака, своим горбом и мускулами завоевавшего известность, всегда с неодолимой силой тянуло к "мысленным людям", к тем, чей труд озарен вдохновением.

Он рассеянно слушал болтовню репортера и все ждал, когда появится Куприн. Тяжелые плюшевые портьеры то и дело раздвигались, пропуская очередного посетителя - франтоватого офицера с нарядной дамой или напыщенного щеголя, бородатого дородного купчину или сухощавого интеллигента в пенсне. "Он, наверно, высок, бледен, непременно в пенсне. У него высокий лоб и густая грива", - думал Заикин о Куприне и все ждал появления человека, который бы соответствовал его представлению о знаменитом писателе.

И, конечно, он равнодушно скользнул взглядом по фигуре, которая выросла на пороге. Это был приземистый квадратный

человек с красным обветренным лицом, заканчивавшимся остроконечной каштановой бородкой, и мускулистой шеей. На лице посверкивали раскосые татарские глаза с прищуром, доброжелательно, цепко и спокойно рассматривавшие все вокруг. Под широким слегка вдавленным носом кудрявились усы. Старенький, выдавший виды пиджак, обтертый по краям, топорщился на нем. Казалось, что его обладатель вырос из него, но почему-то так и не решился купить себе новый.

И все-таки, несмотря на заурядную внешность, было в этом человеке нечто такое, что приковывало к нему внимание. То ли этот взгляд, впитывавший в себя все, что лежало в поле его зрения, необыкновенно живой и пронизывающий, то ли исполненная внутреннего достоинства и силы осанка. И лицо и осанка входили в непримиримое противоречие с одеждой незнакомца. Заикин, успевший повидать за годы своих странствий множество самых разнообразных людей, научившийся распознавать их, просто не знал, к какой категории отнести этого человека. Он был похож и на торговца и на борца, на владельца какого-нибудь питейного заведения и на сельского учителя...

Ярославцев и Горелик, увлеченные разговором, не обратили внимания на вошедшего. Между тем к нему подскочил официант и застыл, обратившись в слух.

Заикин невольно пожал плечами. "Видно, важная птица, - подумал он. - Ишь, как перед ним гнется".

Поднял голову и Горелик. И мгновенно с ним произошла трансформация. Он взвился в воздух, петушком скакнул к незнакомцу, и лицо его при этом сложилось в сладчайшую и даже чуть подобострастную улыбку.

- Пожалуйте к нам, Александр Иванович, - зачастил он. - Окажите честь посидеть с нами.

- Окажу, - спокойно произнес незнакомец, и только в это мгновение Заикин понял, что перед ним знаменитый писатель Куприн.

Куприн подошел к столику, отодвинул стул и грузно сел.

- Ну-ка представь нас, друг любезный, - сказал он Горелику.

Ярославцев и Заикин церемонно поклонились, назвав себя. Куприн весело и внимательно оглядел, словно ощупал, Заикина.

- Слыхал, как же. Знаменит, великолепен. Прямо колосс родосский. Вот ведь каких образцовых человек матушка Русь тачает.

Смушение, даже робость, сковавшие Заикина в первые минуты знакомства, быстро прошли. Куприн тотчас начал говорить ему "ты", словно они были знакомы бог весть сколько лет. Этот переход запанибрата был таким естественным и таким сердечным, что Заикин воспринял его как нечто само собой разумеющееся. Но язык у него самого долго не поворачивался говорить Куприну "ты": он сознавал превосходство своего нового знакомого.

Глядя ему прямо в глаза своими просверливающими насквозь узкими глазками, Куприн дотошно расспрашивал Заикина. И тот, вообще-то не любивший расспросов, помимо своей воли раскрывался перед ним.

- Волгарь, значит. Бечевою хаживал. Обычное дело. И меня жизнь потрепала. Только вот поводырем не был и пастухом тоже да и лед набивать не приходилось.

- Наш брат, мужик, на всякую работу сгоден, - усмехнулся Заикин. - Не зря говорится: "Бывает, и грабли стреляют". "Коли брюхо с голоду пучит, оно тя всему научит".

Куприн раскатисто захохотал. А потом, посерьезнев, сказал:

- А вот в грамоте так и слабехонек. Скверно, брат.

- А на что мне, - беспечно ответил Заикин. - Вот она, моя грамота, - и он похлопал себя по груди. - Все едино книжки писать не буду - каждому свое.

- Ну хорошо, а читать тебя не тянет? Я вот много писал о цирке. Люди знающие - Горький, Толстой - хвалят. А тебе разве не интересно? - И Куприн испытующе взглянул на него.

- Мир не без добрых людей. Почитают-расскажут, коли интересно.

Куприн пожал плечами.

- Вот возьмусь я за тебя - выучишься.

- Брались всякие, - шутливо протянул Заикин, - да только силенок не хватало. К столику пробрались вездесущие одесские газетчики. Один из них - среднего роста, с небольшими усиками, бородкой и грустными глазами - подсел к Куприну, прервав их разговор.

- А, Левенгард, - обрадовался Куприн и потряс ему руку да так, что тот сморщился, но не промолвил ни слова. - А я только что славно побеседовал с твоим коллегой.

Левенгард вопросительно поднял брови.

- С тем, немытым, - задорно блестя глазами, продолжал Куприн.

- Он, видишь ли, просил у меня интервью. По зрелом размышлении и для пользы дела я решил встретиться с ним в... - Куприн выдержал паузу, и все тотчас обернулись к нему, - ...бане.

Левенгард прыснул. Засмеялись и остальные.

- Да, в баньке. Постегали мы друг друга вениками и заодно побеседовали о моих литературных планах. Репортер стал наконец чист, и думается мне, статейка, которую он тиснет в газете, тоже будет чище.

- Вечно вы подшучиваете над нашим братом, Александр Иванович, - укоризненно произнес Левенгард. - Нехорошо. Вам ведь довелось побывать в нашей шкуре. Небось не сладко пришлось.

Он быстро и обиженно выпалил эти слова.

- Ну, не обижайся, - люблю пошутить. - Куприн примирительно положил руку на плечо репортера. - Тебя-то я не буду разыгрывать. Вы знаете, господа, это ему обязан своим появлением на свет "Гамбринус". Он привел меня туда и познакомил с Сашкой-музыкантом, от него я услышал и Сашкину историю.

Левенгард просиял. И снова выпалил - это была вторая фраза, сказанная им за все время сидения за столиком, - своей странной, невнятной скороговоркой:

- Единственное, чем я горжусь в жизни, Александр Иванович.

Поднялся Ярославцев, озабоченно вытащил из жилетного кармана большие серебряные часы.

- Пора, Ваня, в цирк. Надо поразмяться.

Заикин покорно поднялся, хотя ему очень не хотелось уходить от этих людей, каждый из которых был начинен удивительными историями, от Куприна, к которому он почувствовал странно крепкую привязанность, точно тот был близким, давно знакомым человеком.

Он церемонно поклонился всей компании и отодвинул уже плетеный стул, как вдруг Куприн тоже встал и решительно произнес:

- И я с вами.

- Мы в цирк Малевича, - уточнил Ярославцев.

- Ну и что же. Я там свой человек.

Газетчики зароптали. Им не хотелось покидать насиженные места и жариться на свирепом южном солнце. Не хотелось и упускать Куприна, несмотря на то, что тот беспрестанно подтрунивал над ними, делая это, впрочем, добродушно.

- Сидите, коллеги, - и Куприн жестом пригвоздил их к стульям.

- Я вернусь сюда через час.

Когда они вышли, он сказал, пряча в усы усмешку:

- Теперь они будут ждать меня до третьих петухов.

На пути к ним присоединился невысокий поджарый человек в легкой полотняной блузе. Человек этот нес длинный плоский чемоданчик. Видно, они с Куприным были накоротке, потому что называли друг друга Сашей и Колей. "Коля" - Николай Дмитриевич Кузнецов - был художник, выученик, а затем и профессор Петербургской академии художеств. Вскоре, после того как он получил звание академика, Кузнецов поселился с Одессе.

Куприн познакомил их, со значением добавив, что картины Кузнецова висят в Третьяковской галерее в Москве, что он живописец знаменитый, был дружен с Петром Ильичом Чайковским. А потом Куприн и Кузнецов стали оживленно беседовать о какой-то выставке передвижников, на которой картины Кузнецова имели шумный успех. И Заикин в который раз подивился умению своего нового знакомого вести разговор о самых

различных вещах, с самыми различными людьми. И всегда собеседникам Куприна - будь то борец или артельщик, журналист или простой грузчик - с ним интересно.

В полутемном здании цирка было прохладно и стоял тот специфический цирковой запах - влажных опилок, человеческого пота и навоза, без которого цирк, казалось, вообще немислим. Из проходов на арену ложились снопы света, в которых роились тысячи пылинок.

Заикин притащил гири и стал разминаться. Ярославцев, Куприн и Кузнецов уселись в кресла первого ряда и наблюдали за точными и красивыми движениями атлета, за игрой его мускулистого тела.

Неожиданно Куприн ловким движением перемахнул барьерчик и подошел к Заикину. В глазах его поблескивали лукавые искорки.

- Поборемся, Иван Михалыч, - предложил он, - Я знаю один приемчик - тебе ни за что не вырваться.

Заикин осторожно положил двухпудовик на опилки и разогнулся. Он был заинтересован.

- А что за приемчик, Лексан Иваныч?

- Двойной нельсон. Держу пари - не вырвешься. Заикин скептически хмыкнул.

- Ну ладно. Только ежели вам станет не по себе - скажите.

- Я и сам боролся, - с какой-то детской обидой в голосе произнес Куприн. - Не с новичком дело имеешь.

- А если вырвусь? - задорно сказал Заикин.

- Ставлю шампанское, - охотно подхватил Куприн.

- Вон и свидетели сидят, - кивнул Заикин на Ярославцева и Кузнецова, тоже заинтересовавшихся поединком борца и писателя.

Куприн расставил ноги, и нагнувшийся Заикин ощутил на своей шее его сильные руки, сцепленные в мертвой хватке.

- Жми сильней, Лексан Иваныч! - приказал он. Куприн побагровел от натуги, но атлет стоял, не шелохнувшись.

- Ну, а теперь попробуй разжать, Михалыч, - выдохнул он.

Заикин стал осторожно разводиться плечи, решив пощадить самолюбие Куприна. Но тот не сдавался: писатель был силен не по-

интеллигентски и упрям.

- Ишь, нашла коса на камень, - хмыкнул Заикин, продолжая помаленьку разжимать пресловутый купринский захват. - Держи крепче, Лексан Иваныч, а то упустишь.

Куприн не отвечал. И тогда Заикин сильным движением развел плечи. Руки Куприна соскользнули с шеи, и сам он мягко рухнул на опилки. Заикин не сразу понял, что произошло. Обернувшись, он увидел бледные лица Кузнецова и Ярославцева, вскочивших со своих мест.

- Медведь симбирский, не мог полегче! - крикнул ему антрепренер.

Куприн был без чувств. Кликнули служителя. Он протрусил на арену с большим ковшом. Кузнецов растегнул Куприну ворот, а вконец растерявшийся Заикин попрыскал на него водой.

Писатель шевельнулся, открыл глаза.

- Эх, Лексан Иваныч, нешто нельзя было предупредить, - расстроено сказал атлет.

Куприн повел головой во все стороны, слабо улыбнулся.

- Нельзя, волжская ты свая. Самолюбие не позволило. Ты, небось, не любишь кому-нибудь уступать? Ну и я не люблю. Но тут, видно, придется.

Он тяжело поднялся, хлопнул Заикина по спине и серьезно сказал:

- Да, брат, с тобой вряд ли кому по силам тягаться. Хотел было я не в свои сани сесть, да конь меня сбросил. Ты и впрямь ломовой конь, Михалыч.

- Экий чудо-экземпляр природа сотворила, - восхищенно протянул Кузнецов. - Вы мне должны позировать, - обратился он к Заикину. - Отказа не приму.

Борец удивленно вскинул брови.

- Писать картину с тебя будут, - ухмыляясь, пояснил Ярославцев.

- Это можно.

- Ну ладно, други, пошли разопьем шампанское, - прервал их Куприн, окончательно пришедший в себя. - Проиграл я, никуда не

денешься. Видно, тебя на прием не возьмешь.

- Не возьмешь. Многие пробовали, - немцы, французы, турки, итальянцы, японцы - да не осилили, - весело подтвердил Заикин.

- Чемпионский пояс не зря мне даден.

В Париж!

Авиацию импортировали в Россию.

Страна первого в мире самолета Можайского ввозила самолеты из Франции. Царские сановники с ухмылкой смотрели на эту "забаву". Великий князь Петр Николаевич, генерал-инспектор русской армии по инженерной части, цедил с вельможной самонадеянностью: "В аэропланы я не верю, будущность не им принадлежит". Он считал себя провидцем. Но провидцами были Жуковский, Циолковский, Можайский, Кибальчич, Нестеров, десятки других гениальных самоучек, верных сынов России, денно и ночью думавших о ее крыльях, о ее великой судьбе.

Телеграф принес известие из Франции: 25 июля 1909 года Луи Блерио перелетел Ламанш. В августе в старинном Реймсе состоялась первая авиационная неделя - в небо взмыли 37 аэропланов.

Авиация выходила из пеленок. Хрупкие этажерки все настойчивей и уверенней пробивали путь к облакам. Предприимчивые французы строили первые самолетные и моторные заводы, открывали пилотские школы.

Только тогда в Россию был приглашен пилот Леганье. В Гатчину, под Петербургом, на военное поле был доставлен его "вуазен" - "победитель французских бипланов на состязании в Реймсе- 10 километров в 9 минут", - как рекламировали его афиши.

"В воздухе вдруг мелькнул белый биплан, описал полукруг и тяжело рухнул. Как передали, свалился в болото. На этом и закончилось это торжество победителя воздуха", - зубоскалила газета "Россия".

Это было в октябре 1909 года. Неудача постигла и его соотечественника Гюйо. Знаменитый Латам, приехавший в Петербург в апреле следующего года, "пролетел сажень около ста". "После неудачи с авиатором, пользующимся всемирной известностью, общественный интерес к воздухоплаванию упал

совершенно", - с горечью констатировали руководители Всероссийского аэроклуба.

Но в России уже тогда зрели свои Блерио, свои Фарманы и свои Латамы. Почти одновременно с Всероссийским аэроклубом в 1908 году был организован: аэроклуб в Одессе. Монтер железнодорожного телеграфа Михайл Ефимов летом 1909 года поднялся на планере. Он стал первым инструктором планеризма в Одесском аэроклубе. Он стал первым русским, взлетевшим в небо родины на аэроплане. Вслед за ним поднялся в небо Сергей Уточкин - первый русский пилот-самоучка.

Об авиации заговорили в Государственной думе.

- В то время как все страны полетели уже на аэропланах, - возмущался "левый" депутат Маклаков, - когда частная предприимчивость приняла в этой области участие, у нас что в этом отношении есть? Еще ни один человек не летает, но уже изданы полицейские правила против употребления аэропланов (рукоплескание слева), уже есть надзор...

- Напрасно член думы Маклаков возмущается, что в России никто еще не летает, а правила об авиации уже установлены, - вылез мракобес и черносотенец Марков. - Что же тут дурного? Понятно, что прежде чем пустить людей летать, надо научить летать за ними полицейских (рукоплескания справа, общий смех).

Бюджет первых русских аэроклубов складывался из добродетельных даяний. Царская казна не отпускала им ни копейки. Забота властей об авиации выразилась в полицейских правилах министерства внутренних дел, которые вызвали возмущение даже думских деятелей, далеких от левизны.

Предприимчивость и смелость одиночек пробивали дорогу в небо. "Черноморская столица" - Одесса - оспаривала лавры покорительницы воздушной стихии у туманного Петербурга. На одно из заседаний Одесского аэроклуба явился банкир Ксидиас, официально считавшийся его патроном - покровителем. Встреченный низкими поклонами, он втиснулся в председательское кресло, откусил кончик толстой сигары и только после этого

кивнул, разрешая продолжать заседание.

Разговоры, собственно, были уже исчерпаны. В кассе клуба лежали пять тысяч рублей. На эти деньги нельзя было купить даже плохонький "блерио".

- Мы хотели бы обратиться к вам, господин Ксидиас, с просьбой о субсидии одному из наших спортсменов, - робко произнес вице-президент клуба отставной генерал Бураков. - Известный конструктор и пилот Анри Фарман открыл под Парижем первую школу пилотов. Правление считает, что хорошо бы послать туда на выучку кого-либо...

- А что я лично буду с этого иметь? - лениво перебил его Ксидиас.

- Какой презент?

- Славу, господин Ксидиас, - вставил Уточкин. - Славу покровителя русской авиации.

- Пусть слава останется при вас, а деньги при мне, - хихикнул банкир. - Моя слава - деньги, я их делаю и хочу знать, как и когда они ко мне вернуться. - Он задымил сигарой и продолжал: - Допустим, я дам тысяч тридцать - на аэроплан и на обучение. Кто мне гарантирует, что они вернуться ко мне, эти денежки, хотя бы в голеньком виде, без процентов? Кто?

- Клуб гарантирует! - выкрикнул Уточкин.

- Я предпочитаю иметь дело с вполне конкретной личностью, а не с господином, именуемым клуб. Вот ежели я вам дам эти тридцать тысяч, вернете ли вы их за год, скажем?

Уточкин возмущенно вскочил, вспыхнув, бросил в лицо банкиру:

- Т-тут не аукцион, господин Ксидиас. Речь идет о славе российской.

Все еще багровый от гнева, он повернулся и вышел, хлопнув дверью.

- Каков темперамент, - ухмыльнулся банкир. - Пылает как факел на солнышке. На другого человека я бы обиделся, но это же Уточкин, наш одесский Уточкин.

В кабинете воцарилось неловкое молчание.

- Ну-с, господа авиаторы, давайте кончать, - нетерпеливо заерзал

банкир, видимо почувствовавший, что он пересолил. - Так кто хочет стать стипендиатом на мои кровные денежки?

Тяжело поднялся Михайл Ефимов и, не глядя на Ксидиаса, толстые пальцы которого, словно рыцари наживы в доспехах - перстнях и кольцах, - выбивали дробь по столу, твердо сказал:

- Я готов принять ваши условия, господин Ксидиас.

- Ну вот и отлично. Приезжайте ко мне в контору, составим соглашение.

Поздней осенью 1909 года Ефимов выехал в Париж. Ксидиас ссудил его 30 тысячами франков.

Он стал первым русским в фармановской школе пилотов "Этамп". Уже 25 декабря Ефимов совершил самостоятельный полет, а вскоре этот простой русский мастерской установил рекорд продолжительности полета с пассажиром. Он стал первым, почти не зная французского языка, схватывая все налету с интуицией гениального самоучки. Учился он без гроша в кармане: все деньги Ксидиаса ушли на покупку аппарата и плату за обучение. Перспективы были безрадостными: вечная кабала. Ефимов решил уехать в Аргентину.

"Нужда с детства мучила меня, - писал он в Одесский аэроклуб. - Приехал во Францию. Надо мной издевались - у меня не было ни одного франка. Я терпел, думал: полечу - оценят. Прошу Ксидиаса дать больному отцу 70 руб. - дает 25. Оборвался. Прошу аванс в 200 руб., дают 800 франков. Без денег умер отец. Без денег Ефимов поставил мировой рекорд. Кто у нас оценит искусство? Здесь милые ученики уплатили за меня 1000 франков - спасибо им. Фарман дал 500 франков, Больно и стыдно мне, первому русскому авиатору. Получил предложение в Аргентину. Собираюсь ехать, заработаю - все уплачу Ксидиасу. Могу приехать на несколько полетов. За контракт обещаю уплатить 15000 руб., получив 70000 руб. Если контракт не будет уничтожен, не скоро увижу милую Россию. Прошу извинить меня. Ефимов".

Дело принимало скандальный оборот. Всесильный банкир вынужден был уступить. Весной Ефимов приехал в Одессу. Его

встречали как триумфатора. "Фарман" прибыл по железной дороге. Несколько дней ушло на сборку и опробование мотора. Ефимов волновался, хотя причин для этого не было: к тому времени он числился в пятерке прославленных асов мира. На международных соревнованиях в Ницце он пролетел без посадки 130 километров-то было мировым рекордом того времени. За два дня он налетал более 600 километров - мировой рекорд суммарной дальности полета. Ему были вручены призы за наименьший разбег с пассажиром и без пассажира. Эти достижения русского авиатора были тем удивительнее, что, как писал журнал "Вестник воздухоплавания", "ни для кого уже теперь не секрет, что Фарман дал Ефимову перед состязаниями в Ницце свой старый биплан, в то время как все другие французские пилоты получили по спешно приготовленному для этой цели биплану нового образца".

Он поднялся в небо 8 марта. Десятки тысяч одесситов облепили крыши домов, заборы, деревья, глядя на первый в России полет русского пилота. Хрупкая стрекоза с жужжанием парила в небе, и тысячи людей аплодировали смелому авиатору.

Ефимовский "фарман" остался в Одессе. Ксидиас скрепя сердце подарил его аэроклубу. Воздушную эстафету принял из рук своего друга Сергей Уточкин. Он многому научился у Михайла Ефимова за те несколько дней, которые тот пробыл в Одессе. Эти несколько дней для пытливого, увлекающегося Уточкина были равноценны многомесячному пребыванию в школе Фармана, И уже 13 апреля 1910 года он сдавал экзамены на звание пилота своим коллегам по аэроклубу.

Они были придирчивы, эти коллеги. И не только потому, что всеильный Ксидиас выразил свое неудовольствие. Просто "фарман" был единственным богатством клуба.

Но Уточкин выдержал экзамен блестяще. Он и здесь был первым, сохранив верность своему жизненному девизу. И Одесса чествовала его - авиатора, велосипедиста, автомобилиста, яхтсмена, во всем непревзойденного, всегда бегущего, несущегося, плывущего и летящего впереди. Второго мая Уточкин летал над Москвой. Так

начиналось его турне по 70 городам России. Это турне финансировал другой банкир - Артур Антонович Анатра, который рассчитывал извлечь из авиации серьезные барыши и в этом смысле был куда дальновиднее своего коллеги Ксидиаса. Второго же мая закончилась первая Авиационная неделя в Петербурге. Среди иностранных имен - Латам, Моран, Винцерс, Христианс и других - затесалось одно русское. С иноземными летчиками соперничал Николай Попов. Единственная летчица, участвовавшая в Авиационной неделе - баронесса де Лярош, - была ангажирована в Одессу. Женщина-пилот в те времена было явлением из ряда вон выходящим. И экспансивные одесситы, видевшие полеты Ефимова и Уточкина, предвкушали пикантное зрелище: трибуны ипподрома и все окрест залило людское море.

Полиция сбилась с ног, пытаясь навести порядок. Оцепление было снято, и толпа растеклась по ипподрому. Заикин с трудом пробрался на трибуну для почетных гостей: пришлось изрядно поработать локтями. Здесь уже восседали Куприн, его коллега по перу популярный тогда писатель Семен Юшкевич, редактор газеты "Одесский листок" Навроцкий, полковник Малевич - содержатель одесского цирка, члены городской думы и местные богатей.

- Представьте, наши жены летают, - хихикали остряки.

- Господин полицмейстер, вам циркуляром предписано сопровождать баронессу в воздухе...

- Приятная обязанность...

Возле самолета, который уже выкатили на середину поля, возились механики. Самой баронессы еще не было. Но вот вдали показалась процессия, и духовой оркестр по взмаху капельмейстера грянул "Марсельезу". Полицмейстер недовольно покрутил носом. Заметив это, Куприн саркастически усмехнулся.

- Что, революцией запахло, господин полицмейстер? Терпите, ничего не поделаешь, это все-таки гимн дружественной нам державы.

- Терплю, как видите, - кисло отозвался полицмейстер. - Церемониалом предусмотрено.

- Какова она, баронесса? Небось, пудов на десять? - горя любопытством, подвинулся к Куприну Заикин.

- Скоро сам увидишь.

Процессия приближалась. У баронессы де Лярош оказалась внушительная свита. Наконец Заикин смог рассмотреть и саму летчицу. Это была еще сравнительно молодая хрупкая женщина в кожаной тужурке и шлеме, из-под которого кокетливо выбивались пряди белокурых волос. Она поднимала руки в знак приветствия, и трибуны отзывались глухим плеском" хлопков.

- Ишь, пигалица какая, - удивленно протянул Заикин. - И вот, пожалуйста, летает.

- И куда начальство смотрит, - насмешливо подхватил Куприн.

- Такой пример пагубен, - в тон ему отозвался клоун Жакомино. - Скоро с неба начнут валиться очистки, тарелки, горшки...

Между тем баронесса уселась в пилотское лукошко, мотор несколько раз кашлянул, затрещал, и аэроплан судорожными скачками двинулся по полю. Вот его колеса оторвались от земли, и хрупкое сооружение поднялось над трибунами под восторженный рев зрителей.

Заикин от волнения вцепился в спинку кресла, чуть не опрокинув Куприна. Он впервые видел полет аэроплана и был захвачен этим зрелищем. Тотчас ему живо припомнилось волнующее ощущение полета - удивительной легкости, наполняющей тело, какого-то восторга, владевшего им, когда он поднимался на воздушном шаре Древницкого. Ему с необычайной, манящей силой захотелось снова подняться к облакам, снова и снова испытать это ни с чем не сравнимое чувство окрыленности.

Аэроплан де Лярош неуверенно развернулся и неожиданно стал снижаться. Мотор работал с перебоями. Вот аппарат как-то боком коснулся земли, почти без пробежки остановился. Казалось, еще мгновение, и он бы перевернулся.

Заикин с досады сорвал свой щегольской картуз и ударил им по барьеру.

- Эх, баронесса, нешто так летают! - выкрикнул он. - Вот я полечу

так полечу - птицей взвьюсь в облака!

- Куда тебе с твоими-то семью пудами, - пробовал урезонить его Ярославцев. - Аэроплан раздавишь. Заикин отмахнулся.

- Мне по мерке его сделают. Французы - они все могут.

Куприн подмигнул репортерам, наострившим уши. А Заикин продолжал разглагольствовать:

- Великое чудо - небо. Там вроде как сильнее становишься. По мне, так бог человека обидел - не дал ему крыльев. За грехи, небось.

- Куда тебе сильнее быть. И так тебя от силы распирает, - с усмешкой заметил ему Куприн. - Ты, Иван, человек земной, и нечего тебе в небо лезть. Тебя все на земле любят.

- А все-таки полечу, непременно, - распаленный воспоминаниями, твердил Заикин.

Репортеры подхватили заикинский монолог. На следующий день Ярославцев ворвался к нему в номер, потрясая пачкой газет.

- Вот, изволь поглядеть, что ты наделал, дуболом!

- А что? - ничего не подозревая, спросил Заикин.

- А вот что! - И антрепренер раздраженно стал читать: "Прославленный русский атлет, чемпион мира Иван Заикин отправляется во Францию искать счастья на новом, модном ныне поприще авиации. Во время полетов г-жи де Лярош он публично заявил, что добьется еще больших успехов и даже рассчитывает стать чемпионом мира по авиации... Очевидно, лавры чемпиона не дают г-ну Заикину покоя".

- Ну, это они, положим, загнули, я такого не говорил. А вообще что ж, правильно, - невинно произнес Заикин.

Ярославцев взорвался.

- Экий голубь! Да ты понимаешь, что теперь тебе придется ехать во Францию. Иначе скажут: сболтнул Заикин, а потом струсил, убоялся. Атлет озадаченно почесал в затылке. Действительно, дело принимало оборот далеко не шуточный. При его популярности нельзя было бить отбой. Новость, конечно, распространилась по городу. А отпереться- в самом деле скажут: труса празднует.

- А если того... написать в газеты, что слух-де не соответствует, -

нерешительно пробормотал он.

- Еще хуже! - убежденно воскликнул Ярославцев. - Вся Россия смеяться над тобой будет. Заикин тряхнул головой.

- Чему быть - того не избыть. И поеду! Чай, не пропаду я там.

- А я? Обо мне ты подумал? - простонал Ярославцев. - Я же по миру пойду. Весь чемпионат развалится...

В дверь постучали, и тотчас же она распахнулась. В номер ворвался Куприн. Узкие глазки его излучали удовольствие.

- Ну-с, поздравляю нового российского авиатора, - крикнул он прямо с порога. И затем, лукаво подмигнув Ярославцеву, продолжал: - Сие не без моего участия произошло. Когда Навроцкий меня спросил, печатать ли эту заметку, я воскликнул - печатать! Ибо Иван Заикин - орел. А орлу полагается летать выше облаков. Все, что я давеча говорил на ипподроме против летания, - отменяется. Да здравствует Иван Заикин, авиатор, - ныне, присно и во веки веков. Аминь!

Ярославцев угрюмо молчал. Неожиданно он взорвался:

- А деньги!?! На это куча денег требуется. Где их взять?

Куприн, все так же лукаво улыбаясь, ответил:

- Ефимова пригрел Ксидиас, Уточкина - Анатра. Так неужто у знаменитого Заикина не найдется покровитель, какой-нибудь одесский денежный мешок?! Вон мануфактуристы Пташниковы моторизовались, в авто разъезжают. Они, надо полагать, с наслаждением купят всемирно известному чемпиону Заикину летательный аппарат. Нет, уважаемые мои господа, вам теперь от Парижа не отвертеться, - и он стал расхаживать по комнате, довольно потирая руки и посмеиваясь в усы.

- Ах, вам все шуточки да розыгрыши, Александр Иваныч, - расстроено бормотал Ярославцев. - А попробуй вырви из Пташниковых деньги...

- Это ваше дело, уважаемый Петр Данилович. Вы антрепренер, организатор славы нашего Геракла, деловой человек. Вы и позаботьтесь о финансовой стороне вопроса. Авиация приносит большие барыши, вскоре она вытеснит борьбу - не забывайте об

этом. Я предвижу, что впоследствии можно будет организовать полеты Заикина под куполом цирка. Представьте себе: волжский чемпион и самородок Иван Заикин сначала выжимает самолет на ковре, потом седлает его и летает над головами зрителей, жонглируя пятипудовыми гирями...

Нельзя было понять, шутит ли Куприн или говорит серьезно. Но, услышав последнюю его фразу, Заикин и Ярославцев не могли удержаться от смеха. Заикин и вовсе изнемог. Он повалился на кровать и стал кататься в припадке безудержного хохота. Тонко взвизгивал Ярославцев, и лишь Куприн улыбался одними уголками рта.

..."Бенефис Ивана Заикина. Последний раз перед отъездом во Францию для занятия авиацией", - кричали афиши. Одесский цирк ломился от людей. Цены были взвинчены предприимчивым Ярославцевым вдвое против обычного, но разгоряченных почитателей Заикина ничто не могло остановить.

Последний раз... Заикин с легкой грустью стоял за кулисами, ожидая своего выхода. Рядом с ним молчаливо топтались борцы. Всем было не по себе. Его товарищи по чемпионату уныло думали, что с отъездом Заикина кончится их относительное благополучие: что там ни говори, а только одно его имя делало сборы, магнитом притягивая к себе многочисленных любителей борьбы.

А на арене гудел голос Ярославцева: "Уважаемые дамы и господа, достопочтенная публика! Сегодня мы в последний раз увидим выступление знаменитого борца и атлета, чемпиона мира Ивана Михайловича Заикина. Как вам известно из газет, он уезжает во Францию учиться на авиатора..."

Оркестр весело грянул нехитрую мелодию марша. Меж занавесок просунулась голова шпрыхсталмейстера Емельяныча.

- Давай, Ваня.

Здание цирка содрогнулось от приветственных криков и аплодисментов - Заикин, щурясь от яркого света, стоял на арене.

- Слава богатырю нашему!

- Не робей, Иван Михалыч, ввернись штопором в облака!

- Ура Заикину!

Чей-то визгливый голос тянул и тянул на одной ноте: - За-и-и-и-кин, За-и-и-и-кин!

Заикин проделывал свои обычные номера: сгибал железную балку, ломал телеграфный столб, удерживал в растяжку две пары лошадей. И все это с каким-то особенным удовольствием, с лихой щедростью.

В одно из редких мгновений, когда он выбежал за кулисы, чтобы глотнуть воды и обтереть торс мокрым полотенцем, Ярославцев предостерегающе кинул ему:

- Ты, никак, ошалел? Смотри, надорвешься.

- Ничего, Петя, на один раз такой работы меня хватит.

Утром друзья провожали Заикина в дальнюю дорогу.

- Какая жалость, так и не удалось дописать ваш портрет, - сетовал Николай Дмитриевич Кузнецов. - Ну да ладно, не последний раз видимся.. Вот вам, богатырь мой, письмецо дочери Марии. Она поет в Парижской опере, по-французски "Гран-Опера", и, несомненно, сможет быть вам полезной. У нее есть нужные знакомства да и, кроме того, вам в Париже без толмача никак не обойтись...

Кто-то с силой хлопнул его по плечу. Заикин обернулся. Это был Куприн. В руке он держал небольшую сафьяновую коробочку.

- Вот тебе, голубчик, талисман от меня, татарина. - И, озорно блестя своими узенькими глазками, Куприн продолжал нараспев, смешно коверкая слова. - С-ы-пасет он тебе от напасти, от лвиной пасти и от пристава первой части...

Заикин с любопытством приподнял крышку. В углублении лежал небольшой яшмовый божок. Маленькие раскосые глазки смотрели на мир с мудрым спокойствием, и было в них что-то купринское, прозорливое, всевидящее и вместе с тем бесовски веселое.

- Не с тебя ни слеплен, Лексан Иваныч? - усмехнулся Заикин.

- С меня и есть да мне поклоняйся...

Трель кондукторского свистка прервала его. Вагоны лязгнули и покатались. Поезд уносил Заикина. И в этот момент авиация - его

будущее - показалась ему странно далекой и чужой.

Назвался груздем - полезай в кузов

Майский Париж прекрасен. Но Заикину, не знавшему языка, было не до красот.

"Неужто меня никто не встретит?" - думал он, выходя из вагона и лихорадочно шаря глазами по толпе, запрудившей перрон.

Людской поток начал мало-помалу редеть, и тут- о радость! - он увидел Эйжена, тренера графа Рибопьера, занимавшегося с Поддубным и немного с ним самим.

- Господин Эйжен, господин Эйжен! - закричал Заикин и бросился к нему, размахивая руками и забыв о своих пожитках.

Эйжен умерил шаг и стал озираться. Наконец взгляд его упал на Заикина, и он просиял.

- Боже мой, мсье Заикин! Какими судьбами! Здесь, в Париже...

Они обнялись и расцеловались. Оба были растроганы.

- Пропал бы тут без вас, - торопливо говорил Заикин. - Я ведь по-французски не балакаю, а без языка - погибель.

- О мсье Заикин, вы нигде не пропадете, - заверил его Эйжен, - Такая фигура! Вас не оставят без внимания.

Заикин и впрямь привлекал к себе всеобщее внимание. Огромный, на целую голову возвышавшийся над толпой, он, вдобавок ко всему, был облачен в черкеску с газырями. И этот необычный наряд, и сама богатырская фигура Заикина тотчас стали объектом любопытства парижан.

Заметив это, Заикин начал сокрушаться, но Эйжен поспешил успокоить его, сказав, что в таком экзотическом обличье легче будет добиться успеха у парижских импрессарио. Вежливый и расторопный француз был убежден, что русский борец приехал для выступлений в парижских цирках. Но когда Заикин посвятил его в свои планы, Эйжен разволновался.

- Как, мсье Заикин, вы предаете борьбу?! Возможно ли это? Увлечение аэропланами пройдет, а борьба останется. К тому же надо быть механиком. И потом, ваш вес. Нет, это невероятно, я

отказываюсь верить.

- Ничего, смелость города берет, - беспечно тряхнул головой Заикин. - Вы бы помогли мне устроиться, господин Эйжен. Хорошо бы подыскать какой-нибудь отель подешевле, с удобной, как это по-вашему называется, шамбр, что ли. Эйжен засмеялся и утвердительно кивнул головой.

- О, да, шамбр. Я вижу, ваш парижский визит оставил след.

- Еще бы, - усмехнулся Заикин. - Итальянцы тут меня чуть было не прикончили. Возьми пуля на вершок ниже - и остался бы от меня только след на этом свете.

Эйжен подозвал такси, и Заикин с трудом втиснулся в узкую дверцу пыхтящего и дымящего "Рене". Сняв "шамбр" и получив ключи, они поехали к Марии Николаевне Кузнецовой. Заикин вертел в руках визитную карточку, врученную ему маститым художником перед отъездом в Париж. На ней был нацарапан парижский адрес дочери и несколько слов с просьбой "принять участие, и притом самое сердечное, в судьбе моего друга, замечательного самородка Ивана Заикина, о котором, впрочем, ты слышана. Он решил посвятить себя авиации, и ему нужны связи". Кузнецова жила в фешенебельном особняке. Дверь открыла горничная, которую Заикин принял сначала за саму Кузнецову. Эйжен заговорил с ней по-французски и вручил визитную карточку. Горничная, фыркнув, убежала. Потом она явилась снова и сказала на чистейшем русском языке:

- Мария Николаевна велели обождать. Они сейчас выйдут.

Услышав русскую речь, Заикин расцвел.

- Ты что же, милая, сразу не сказалась. Небось, мы с тобой земляки...

- Медведь вам земляк, - хихикнула девушка и, стрельнув глазами, выпорхнула из приемной.

Заикин углубился в рассматривание журналов, лежавших на низком столике, и не заметил, как вошла Кузнецова.

- Рада вас видеть, голубчик Заикин, - раздался над ним мягкий певучий голос. Заикин поднял голову и обомлел. Перед ним стояла

женщина редкой гармоничной красоты. Все в ней было совершенно - и лучистые карие глаза, и тонкий овал лица, и стройная фигура, и мягкие темные волосы, свободно ниспадавшие на плечи...

Он видел у Кузнецова портретные наброски дочери, открытки, на которых она - солистка императорского Мариинского театра - была снята в оперных партиях, и репродукции ее портретов, написанных отцом и известным художником Головиным.

"Вот она какая в жизни, - пронеслось у него в голове. - Еще краше, чем на портретах".

Кузнецова наслаждалась произведенным ею впечатлением: несколько мгновений Заикин не мог вымолвить ни слова и только во все глаза смотрел на нее.

- Так чем же я могу быть вам полезной, голубчик? - снова повторила она. Спотыкаясь на каждом слове, он объяснил ей цель своего приезда. Она была проста в обращении, очень любезна, и постепенно скованность Заикина прошла. Он рассказал ей об отце и его работе, о которой имел некоторое представление, так как был частым гостем в его мастерской.

- Не скоро увидимся мы с папа, - с легким вздохом произнесла Мария Николаевна. - Только через два месяца кончается мой контракт с "Гранд-опера".

- Она посетовала, что не сможет уделить Заикину внимания - занята в спектаклях и концертах.

- Я здесь, в Париже, нарасхват, французы меня больше ценят, чем на родине, в России, - слегка рисуясь, помнила она. - Иной раз ждут по несколько месяцев для того только, чтобы открыть спектакль. Композитор Массне специально для меня написал оперу "Клеопатра" и посвятил свою "Таис"... Он уверяет, что не знает певицы лучше, а я ему не верю. - Она улыбнулась и добавила: - Впрочем, это не имеет отношения к нашему с вами делу, не так ли? Сейчас надо свести вас кое с кем, кто будет по-настоящему полезен. Здесь есть немало русских, превосходных людей, со связями. А я только слабая женщина...

Мария Николаевна на мгновение задумалась.

- Надо познакомить вас с Иваном Алексеевичем Алчевским. Он тут свой человек. - И, заметив вопросительный взгляд Заикина, пояснила:

- Это мой коллега. Великолепный тенор, знаменитейший, можно сказать, и человек чудесный - душевный, обязательный. Он сейчас тоже поет в "Гранд-опера", иногда в очередь с Карузо, который приглашен дирекцией из Милана. Непременно сведу вас с ним. Иван Алексеевич человек увлекающийся, он вам, голубчик, непременно поможет.

Чувствуя, что разговор исчерпан, Заикин встал, собираясь уходить. Но Мария Николаевна была так душевна и так горячо упрашивала его отобедать с ней, что он остался.

- Будут наши, русские, быть может и Иван Алексеевич пожалует, вот я вас и познакомлю.

К обеду действительно явился Алчевский с Карузо и незнакомый господин, которого все встретили с большой почтительностью. Это был Сергей Павлович Дягилев - устроитель "русских сезонов", знакомивших парижан с русским искусством.

Алчевский - стройный, щеголевато одетый, с красивым открытым лицом - сразу понравился Заикину. Понравился ему и Карузо - живой, энергичный, начинавший приметно полнеть. Дягилев вел себя очень значительно, говорил мало, но веско. И Заикин, не любивший людей себе на уме, не проникся к нему симпатией.

Разговор за столом шел по-французски - из внимания к знаменитому итальянцу. Узнав, что перед ним борец Заикин, Карузо оживился и спросил, не тот ли это Заикин, который так бесцеремонно расправился с их национальным кумиром Джиованни Райцевичем. Когда ему подтвердили это, он обрушил на Заикина темпераментную тираду.

Кузнецова, смеясь, перевела, что знаменитый маэстро выражает свое возмущение и как честный патриот готов растерзать Заикина, но, принимая во внимание то, что русский борец все-таки вышел победителем и стал чемпионом мира, он прощает его.

- Скажите ему, - добавил Карузо, - что его соотечественники

вообще стали побивать итальянцев. Даже в опере. А это бессовестно и против традиции... Карузо произнес целую речь. Кузнецова терпеливо переводила ее Заикину, может быть потому, что певец, говоря, обращался именно к нему. Шаляпин- это гигант искусства, покоровивший мир, Мусоргский отгеснил своей колоссальной фигурой всех новомодных композиторов, и французы увидели, что все, сделанное Дебюсси в музыке, уже было найдено Мусоргским. И вообще русские опера и балет, ставшие известными благодаря господину Дягилеву-тут Карузо поклонился в его сторону, - это удивительное, неповторимое явление.

- А эти колоссы Заикин и Поддубный, - продолжал Карузо, - с их феноменальной силой... А безвестный русский Михаил Ефимов, который, едва выучившись летать, уже побивает всех и в первую очередь своих учителей-французов. Что же будет дальше, господа! - воскликнул Карузо и в притворном ужасе всплеснул руками. - Вы хотите положить к вашим ногам весь мир?

Алчевский расхохотался. За ним засмеялись остальные. Заикин был втайне польщен, а Дягилев лениво проговорил по-русски, а затем перевел на французский:

- Русскому народу суждена особая миссия, уважаемый маэстро, он призван влить свою свежую кровь в дряблые вены европейской цивилизации.

- А вы, господин Заикин, - обратился к нему Карузо, - вы теперь хотите положить на обе лопатки авиацию?

- Это уже как выйдет. За успех не ручаюсь, но силы приложу, будьте покойны. А силы-то у меня хватит.

- Тут одной силой не возьмешь, - заметил Дягилев, закуривая папироску. - Нужны знания, сноровка, смелость.

- А я верю, что Иван Михайлович одолеет и авиацию, - раздался спокойный голос Алчевского. - Он упорен и настойчив по-хорошему, по-русски, я бы даже сказал, по-мужицки. Такой характер, если уж за что-нибудь возьмется, непременно доведет до конца...

Разговор неприметно перекинулся на авиацию. Оказалось, что и

Алчевский и даже Карузо отлично осведомлены о последних успехах покорителей воздуха. Авиация входила в моду, о ней говорили не только в кругу пилотов и конструкторов самолетов, но и в великосветских "салонах. Даже Мария Николаевна была знакома с известным пилотом Блерио, который, как она уверяла, был ревностным поклонником ее таланта и однажды даже презентовал ей великолепный букет роз со своей визитной карточкой.

- У Фармана в "Этампе" - целая русская колония, - рассказывал Алчевский. - И там не только поенные, но и цивильные. Я вас непременно с ними познакомлю, - обратился он к Заикину. - Среди них есть милейшие люди, особенно штабс-капитаны Мациевич и Ульянин. Последний - умница, высокоинтеллигентный человек, изобретатель. Представьте себе, господа: в пору, когда воздухоплавание только, можно сказать, вышло из пеленок, он изобрел систему змеев, которые поднимали наблюдателей...

- Змеи? Эти детские игрушки? Не может быть! - воскликнула Кузнецова.

- Мне рассказывал об этом в Петербурге один из офицеров Генерального штаба, - продолжал Алчевский. - У Сергея Алексеевича даже вышел конфликт из-за этих змеев с генералом Драгомировым. Затем Ульянин придумал устройство для автоматического фотографирования с высоты. А сейчас, находясь здесь, он заканчивает проект первого русского аэроплана.

- Первый русский аэроплан построил Гаккель. Об этом писали в газетах, - возразил Дягилев. - Причем всего несколько дней назад.

- Знаю, - отмахнулся Алчевский. - Однако Ульянин начал конструировать свой аэроплан еще в позапрошлом году, притом аппарат двухмоторный. Его уж было начали строить в Петербурге, на заводе Щетинина. И тут штабс-капитана откомандировали в Париж, а без его надзора никто не решился продолжать. Давеча рассказывал он мне, что, находясь здесь, в центре авиационной мысли, увидел несовершенства своего аэроплана и решил кое-что переменить в конструкции. Да, он удивительно деятельный и

интеллигентный человек, - закончил Алчевский. - И сколько я знаю его - всегда в движении.

- Познакомьте же и меня с этим русским Фарманом, - кокетливо протянула Мария Николаевна.

- О, непременно. Хотите ехать сейчас? - предложил Алчевский. - У моего друга Энрико внизу автомобиль. Кстати, Иван Михайлович, мы можем свезти вас к Фарману.

Заикин, внимательно слушавший разговор и молчавший, радостно закивал головой и поднялся.

- Вестимо, Иван Алексеевич, хочу. И не только хочу, а мечтаю. Ведь я для этого и приехал сюда. Все трое церемонно раскланялись. Мария Николаевна, сославшись на усталость и дела ("я надеюсь, что вы еще предоставите мне возможность познакомиться с вашим изобретательным штабс-капитаном"), отказалась от поездки.

Авто Карузо - черный высокий лимузин - стоял у подъезда. Они уселись в него, причем Заикину пришлось для этого сложиться чуть ли не вдвое, и покатали в парижскую контору братьев Фарман. Их принял младший брат Анри Фармана, тоже авиаконструктор, Морис - совладелец фирмы. Завидя огромную фигуру Заикина в черкеске, он от неожиданности даже отступил на шаг. Лицо его выразило неподдельное изумление. Впрочем, он тотчас взял себя в руки и стал внимательно слушать, склонив голову набок.

- Аэроплан нужен вам? - спросил он Алчевского, когда тот изложил цель их визита.

- Нет, господину Заикину, - улыбнулся Алчевский. - Я всего лишь оперный певец и мои крылья - это крылья искусства.

- О, тысяча извинений, - рассыпался Морис Фарман. - Но я боюсь, что наша фирма не в состоянии будет построить достаточно прочный аппарат для мсье ...э-э-э...

- Заикина, - подсказал Алчевский.

- А кроме того, - продолжал Морис Фарман, - завод завален заказами. Я не могу ничего гарантировать: всеми заказами на постройку аппаратов распоряжается исключительно брат Анри. Впрочем, мы можем снести с ним по телефону.

Морис вызвал Мурмелон. Через несколько минут он разговаривал с Анри Фарманом. Заикин с бьющимся сердцем слушал чужую речь. Он давно так не волновался - в эти минуты по существу решалась его судьба. Он с беспокойством думал о том, что Анри может отказать или заломить несусветную цену, что я школе пилотов не окажется свободных мест... Морис наконец повесил трубку и обратился к Алчевскому.

- Анри сказал, что аппарат для мсье... Зэкин, - Морис проглотил слюну и сморщился - фамилия Заикина явно не давалась ему, - можно будет построить не раньше чем через два-три месяца. Это будет стоить тридцать пять - сорок тысяч франков...

Услышав эту цифру, Алчевский даже подскочил от неожиданности, а Морис невозмутимо продолжал:

- ...не считая стоимости ангара и запасных частей, а также обучения в "Этампе".

Алчевский пересказал Заикину содержание разговора. Он был возмущен.

- Черт знает какие цены! Это же просто жульничество.

Заикин тяжело вздохнул.

- Ума не приложу, где добыть такие деньги. Для меня это целое состояние. Одна надежда на Пташниковых. Так ведь не дадут, сквалыги. Они над каждой копейкой трясутся. Я таких скупердяев еще не видывал.

- Поедем к Блерио! - решительно махнул рукой Алчевский.

Автомобиль взревел и понесся по запутанным улицам парижских предместий. Заикин и вовсе пал духом. "Неужели Пташниковы, эти сытые, самодовольные пузачи, откажут в деньгах? Они же дали слово". Тут ему вспомнилась реплика Куприна на вокзале, исполненная многозначительности и ехидства: "Эти откормленные кабаны легко обещают и так же легко берут свои обещания назад. За обещания ведь платы не взимают". Он похолодел.

Блерио в конторе не оказалось. "Уехал и не знаем, когда будет", - одно только и могли сообщить служащие. "Можно ли купить аэроплан? О, нет. До конца года об этом не может быть и речи.

Фирма завалена заказами".

- Мне на роду написано лезть в кабалу, - с горькой усмешкой бросил Заикин.

- Видно, придется бить челом Фарману. Ничего не поделаешь: назвался груздем - полезай в кузов.

Автомобиль Карузо привез Заикина в отель. Знаменитый итальянец, не говоря уже об Алчевском, был расстроен не меньше атлета.

- Я и сам был беден и знаю, как тяжело подняться простому человеку. А в небо - тем более, - пошутил он на прощание. - Не унывайте, синьор Заикин. У ваших соотечественников широкая душа. Они не оставят вас в беде.

Заикин тяжело вздохнул.

- Одна надежда на это. А без авиации мне не жить.

Близок локоть, да не укусишь

Захолустный городок Мурмелон невядалеке от Парижа быстро завоевал репутацию международной авиационной столицы. Здесь обосновался Анри Фарман. Здесь он открыл первую во Франции школу пилотов и самолетостроительный завод. Школа была первой не только во Франции, но и в мире. Вот почему в "Этамп" потекли толпы паломников - энтузиастов авиации из разных стран.

Предприимчивый Анри Фарман - один из пионеров авиации, даровитый конструктор и мужественный человек - довольно быстро смекнул, что слава, завоеванная в воздухе, может стать источником наживы на земле. Его школа носила поэтому чисто коммерческий характер. И так как размер платы за обучение был прямо пропорционален времени пребывания в фармановских классах, хозяин заведения был совсем не заинтересован в быстром выпуске пилотов.

Зайкин приехал в Мурмелон на следующий день. Как и предсказывал Алчевский, провожатого не надо было брать: земляки тотчас опознали его - люди в черкесках заезжали в Мурмелон не часто.

Здесь было много русских - Ульянин, Мацевич, Габер-Влынский, Костин, Хиони и другие - военные и цивильные, командированные за счет казны и приехавшие на свой страх и риск.

Если Зайкин ни с кем из них лично не был знаком, то его знали все. Спорт и авиация пока еще состояли в самом ближайшем родстве, но уже военные специалисты самых крупных держав пророчили большое будущее неказистым летающим сооружениям из проволоки и дерева.

Соотечественники плотной толпой обступили его. Посыпались расспросы. Зайкин отвечал невпопад. Глаза его блуждали, переходя с предмета на предмет. Все здесь было ново и необычно. Огромное ровное поле избородили колеса аэропланов. И потом, ему никогда еще не доводилось видеть столько летательных

аппаратов. Казалось, он попал в какой-то фантастический мир, населенный крылатыми драконами.

Он все ждал, что вот-вот взрвут моторы и в небо взмоют аэропланы. Но все было тихо, безмятежно тихо, словно здесь был не авиационный центр, а мирная захолустная деревенька.

- Чего же это не летают? - не выдержал он. Его собеседники усмехнулись.

- Погода ветреная. Нельзя, - односложно ответил Мациевич.

- Нешто это ветер? - искренне удивился Заикин. - Подувает еле-еле. Таким ветром и муху не сдует, а не то что аэроплан.

- Эх, Иван Михайлович, больно ты еще прост, - положил ему руку на плечо Ульянин. - Эти аппараты еще только из пеленок вылупились. Они слабого дуновения боятся. Вон, погляди-ка на флаг. Коли обвиснет он совсем, тогда и летать будут.

Заикин пожал плечами.

- Так что ж, милые, сидите вы, значит, на французском солнышке и загораете? Тишь да гладь - божья благодать, а когда ж летать?

- Сидим, загораем. Это верно, - раздалось сразу несколько голосов.

- Сидим загораем, свои денежки проедаем, - подхватил, усмехаясь, Заикин.

- Кто свои, а кто казенные.

- Небось, и за безветрие платите? Земляки развеселились.

- А как же. Исправно платим.

- Это вроде штрафа за божий недосмотр, - усмехнулся в густые усы Мациевич.

- Нас, русских, тут вообще не жалуют, - хмуро сказал Костин. - Перво-наперво летают французы; а мы вроде пасынков.

- Это они за Наполеона, за двенадцатый год, - пошутил Заикин. - Тогда мы вошли в Париж победителями, а таперича - просителями.

- Ишь, каков: за словом в карман не лезет, - одобрительно произнес Ульянин.

- Чего-чего, а слов у меня хватит. Было бы столько франков, - Заикин красноречиво похлопал по пустым карманам шаровар.

Заикин был принят в семью русских авиаторов, как свой. Все гурьбой отправились отмечать его приезд в мурмелонский кабачок "Канар", славившийся своими винами и рагу из утки.

Вечером, когда компания была уже навеселе, Заикин вдруг спохватился:

- Братцы, а как же я устроюсь? Мне же надо было благословение Фармана получить и насчет аэроплана с ним договориться.

Мациевич небрежно махнул рукой.

- Э, Иван Михайлович, пустое. Успеешь. И потом, шеф сегодня был, говорят, не в духе. А когда он не в духе, к нему лучше не соваться. Ежели у нас ветер- это еще ничего. А вот если шеф не в духе - это все равно что буря: и полеты отменяются, и контора закрывается. У меня в комнате есть свободная кровать. Переспшишь, а завтра - будет день, будет и пища.

Наутро в "Этамп" прикатил черный лимузин Карузо. Алчевский торжественно нес какой-то объемистый сверток, а Карузо шуточно выпевал губами марш.

- Вот, Иван Михайлович, подарок тебе от почитателей - меня и Энрико. Придумал это он, а осуществили вместе.

Заикин с любопытством развернул сверток. На свет появились черная кожаная тужурка, авиаторский шлем и комбинезон.

- Ну зачем же это вы, - растроганно протянул атлет. - Словно я вовсе нищий.

- Не примешь - обидишь и меня, и Энрико.

- Си, си, синьор Заикин, каро Ванья, - торопливо выговорил Карузо, будто поняв, о чем идет речь.

- Ну вот, видишь, и он тоже за меня, - со смехом подхватил Алчевский. - Когда я рассказал Энрико про твои полушубки, которые ты раздаривал саратовской голытьбе, он был очень растроган и все время повторял: какой широкий, какой великодушный человек. Я его очень насмешил, рассказав о том, что на полушубках стояло клеймо "Иван Заикин". "Неужели у вас так пьют, что продают с себя даже одежду? - удивлялся Энрико. - Непостижимый народ!"

- Ежели могли б, то и себя пропили бы по частям, - с горечью сказал Заикин.

- Не от сытого брюха хлещут - горе свое топят. - И тогда он, - закончил Алчевский, кивнув головой в сторону молчавшего Карузо, - предложил: "Давай мы подарим ему авиационный полушубок". Энрико, видишь ли, думал, что полушубок это род кожаной тужурки. Я с трудом объяснил ему, что это такое, и даже повел его в костюмерную, но там, разумеется, полушубка не оказалось. Заикин взволнованно потряс руку Карузо. Больше всего растрогал его не сам подарок, а удивительная душевность и отзывчивость прославленного итальянского певца. Карузо что-то быстро произнес по-французски.

- Он говорит, - смеясь, перевел Алчевский, - что это память о знакомстве, о нем, и если бы он мог, то непременно поставил бы клеймо со своим именем. И не только для того, чтобы ты, не дай бог, не пропил подарок, - он уверен, что этого не случится, а главным образом потому, что его имя кое-что да стоит...

Карузо, следивший за своим добровольным переводчиком, подождал, пока тот кончит, и затем снова затараторил.

- А еще он просит сказать тебе, что будет горд, если эта тужурка вместе с ее хозяином установят парочку мировых рекордов.

Глаза итальянца смеялись. Заикин с добродушной усмешкой сказал:

- Передай ему, что все его наказы исполню в точности. И в небе, и на цирковой арене. Об Иване Заикине еще будут говорить.

- Ну, а как твои дела, Иван Михайлович? - поинтересовался Алчевский.

- Говорил ты уже с Фарманом?

- Не сподобился.

- Тогда давай воспользуемся нашим пребыванием здесь и отправимся к нему сообща. Если он узнает, что за тебя ходатайствует сам Карузо, отказа не будет.

Снова черный лимузин повез их, фыркая и стреляя мотором, по мощенной камнем дороге. Серая пыль стлалась за автомобилем,

встречные крестьяне равнодушно жались к краю дороги: они успели привыкнуть к аэропланам и вид автомобиля не вызывал у них любопытства.

Анри Фарман принял их в своей довольно скромно обставленной конторке, примыкавшей к низкому заводскому корпусу. Он был в потрепанном костюме и изрядно засаленной кепчонке, глубоко надвинутой на лоб, и потому никак не походил на хозяина. Узнав, что перед ним знаменитый Карузо, король певцов, он рассыпался в комплиментах:

- Вы осчастливили меня своим приездом, мсье Карузо. Для нашего завода, для нашей школы это гордость, - черные живые глаза Фармана излучали удовольствие. - Позвольте показать вам производство.

Карузо представил конструктору Алчевского и Заикина, добавив, что знаменитый борец хотел бы приобрести аэроплан и войти в число тех шестидесяти крылатых, которые имеют счастье быть его, Фармана, учениками.

- О, ваша просьба для меня закон.

- И Фарман поочередно потряс руку Алчевскому и Заикину.

- Я сейчас же распоряжусь, чтобы вам оформили заказ и зачислили в мою школу. Быть воспитателем такого атлета для нас большая честь, - добавил он любезно.

- Но с сожалением должен предупредить, что раньше чем через два месяца выполнить ваш заказ мы не сможем.

- Скажите ему, - попросил Заикин, - на то его и божья воля, а я согласен. Куда денешься, коль в невестах девица. Уж если меня авиация обкрутила, я ее согласен ждать, сколь нужно.

Фарман отправился отдавать распоряжения, Алчевский и Карузо тотчас накинулись на Заикина с поздравлениями. Они жали ему руки, хлопали по спине, радуясь, как дети, а восторженный и темпераментный итальянец, привстав на цыпочки, чмокнул атлета в щеку, точно младенца.

Осмотрев завод, они отвезли Заикина в "Этамп". Он порядком устал от впечатлений первых дней, от множества волнений и

переживаний - столь частых переходов от надежды к отчаянию ему еще не довелось испытать. Не раздеваясь, Заикин бросился на кровать и мгновенно уснул.

Потянулись томительные дни занятий. Для Заикина они были томительными в полном смысле этого слова. Единственный инструктор школы Бовье, которого в глаза все почтительно называла профессором, а за глаза хапугой, предпочитал заниматься со своими учениками "словесностью" - теорией полета, устройством мотора и аэроплана. Из русской колонии объяснения Бовье были доступны только офицерам. "Простолюдины" - механик Костин, борец Заикин, техник Хиони, тоже, кстати, одессит, как и Ефимов, - французского языка не знали и откровенно дремали на занятиях. Зато когда в "Этамп" приезжал Ефимов, давно летавший самостоятельно и уже пустившийся в коммерческие полеты (надо было отрабатывать долг Ксидиасу), каждый тянул его к себе. Ефимов был признанным и авторитетным учителем для всей русской колонии. Даже офицеры, понаторевшие во французском языке, предпочитали брать уроки у него, а не у велеречивого Бовье.

Иногда в школе появлялся сам шеф - Анри Фарман в неизменной засаленной кепчонке. Если он бывал в хорошем расположении, что случалось нечасто, то сам садился в пилотское лукошко, и тогда пять-шесть учеников получали уроки практических полетов, стоившие многодневной "словесности" Бовье. Шеф был резок, не терпел возражений, но зато смел, искусен и дотошен. Он не отпускал учлета, пока не убеждался, что тот сполна и до тонкостей усвоил его урок.

Фарман был высокого мнения о русских авиаторах, особенно о Ефимове. "Этот Ефимов талантлив, как я, - любил говаривать он. - Если бы он начинал одновременно со мной и Блерио, я не знаю, кто первым перелетел бы Ламанш. Во всяком случае, половина рекордов была бы за ним. У него светлая голова и руки артиста".

Первое время Заикин ходил на "словесность". Но потом махнул рукой и бросил.

- Доне муа манже, мерси боку да еще кошон - вот и весь мой

бонтон. Чего мне сидеть на этих занятиях, коли я во французском, как сазан в библии, - объяснял он Ульянину. - Ты, Сергей Алексеевич, сделай милость, скажи профессору, чтоб не обижался. А я лучше около механиков да аппаратов покручусь - больше пользы будет.

Все свободное время Заикин проводил на летном поле. Там шла подготовка к показательным полетам.

Фарман рассчитывал привлечь к "Этампу" внимание общественности, а заодно приработать - входной билет стоил десять франков.

Механики деловито выкатывали аппараты из ангаров - словно лошадей выводили на прогулку. Их гортанные выкрики сливались с треском моторов: "фарманы" казались миниатюрными рядом с "вуазеном": так выглядит, наверно, легкая прогулочная коляска рядом с грузным фиакром. Заикин вертелся то подле одного, то подле другого аэроплана. Он внимательно приглядывался к тому, как запускается мотор, как опробуются рычаги управления, жестаи просил повторить какое-нибудь заинтересовавшее его движение. Механики-французы относились к нему добродушно и, посмеиваясь меж собой над этим русским медведем, охотно показывали то, что он просил. Многого Заикин не понимал. Тогда он отзывал в сторону Ульянина и робко просил:

- Ты, Сергей Алексеич, человек умственный, так объясни, будь ласков, для чего эти самые элероны нужны, никак я в толк не возьму.

Ульянин терпеливо объяснял. Он не обижался на атлета даже тогда, когда тот отрывал его от работы: все свободное время штабс-капитан что-то рассчитывал и вычерчивал. Однажды Заикин, застав его за этим занятием, не выдержал и простодушно спросил:

- И что это ты, Алексеич, глаза-то портишь? Как монах: заперся в своей келье и на люди не кажешься. Обет, что ль, кому дал?

Ульянин оторвался от своих чертежей и устало улыбнулся.

- Самому себе, Иван Михайлович. Хочу вот закончить разработку чертежей двухмоторного аэроплана для завода Щетинина. Хватит

нам, русским, на "фарманах", "блерио" да "вуазенах" летать, не захудалая страна Россия, не задворки Европы. Есть у нас силы, есть люди.

- Выходит, ты в царствие небесное на своем аппарате решил отправиться? - ухмыльнулся Заикин. - Зря, значит, про тебя говорят, что нелюдим ты и бука.

- Времени в обрез, дорогой мой, потому и монахом стал - поморщился Ульянов.

И вдруг, в каком-то неосознанном порыве откровенности, сказал:

- Есть у меня еще заветная думка. Никому я о ней не говорил, а тебе скажу. Хочу построить прибор, который бы управлял аэропланом с земли...

- Ну, это, брат, блажь какая-то, - невольно вырвалось у Заикина.

Штабс-капитан, пропустив эту реплику мимо ушей, продолжал.

- Если ты слышал про грозоотметчик Попова, про электромагнитные волны, которые передаются по воздуху, то скажу, что действие моего прибора основано именно на этом принципе. Авиации в будущих войнах суждена выдающаяся роль. И тогда управление аэропланом на расстоянии приобретет значение важнейшее. Я уж и схему прибора набросал. Приеду домой - построю модель.

Заикин слушал его, стараясь не проронить ни слова. Впервые он ощутил откровенную зависть к техническим познаниям, к смекалке своего товарища по школе. Вместе с этим мимолетным чувством возникло уважение к Ульянину, который был одержим своими идеями, работой и сознательно принес в жертву им все остальное.

Он долго не находил, что сказать, а потом удивленно протянул:

- Чего ж до дому откладывать, чудак-человек. Нешто у Фармана на заводе нельзя построить модельку?

Ульянин отрицательно помотал головой.

- Нельзя. Это изобретение должно принадлежать русскому народу.

Заикин не спросил почему. Он тотчас вспомнил, что Фарман со строгим разбором пускал на свой завод чужестранцев и не только

чужестранцев, но и своих соплеменников, которые могли стать конкурентами, - ревностно тая от посторонних глаз производственные секреты фирмы. Его, Заикина, пускали, зная, видимо, что он далек от техники, а следовательно, и безопасен. Решив проверить догадку, он спросил Ульянина:

- А тебя-то на завод допускают?

- Нет. А мне без надобности. Я и без этого могу разобраться, что к чему.

- Тошно мне, - со вздохом признался Заикин. - Ярославцев, антрепренер мой, пишет: борцы запьянствовали, труппа развалилась, и прогорел он - денег нет. И тут места себе не могу найти: Фарману франки сполна плачены, а я досель не летал. Ежели так и дальше будет- не полечу я, а вылечу. В трубу.

Ульянин невесело усмехнулся.

- Да, не жалуют нас хозяева. И не пойму - почему. Конкурентов, что ли, чуют. Эвон как Ефимов нос им утер.

Наступил день показательных полетов. Весело гремел оркестр, тысячные толпы облепили все вокруг, и поле с прилегающими к нему дорогами напоминало расплзшийся муравейник. Заикину почему-то вспомнилась Нижегородская ярмарка, кишевшая народом, балаганы с удалыми зазывалами, гулянье с каруселями, лотками, полными всякой снеди...

Здесь все было похоже и все по-иному, без лихости и бесшабашности русской толпы. Гуляющие заполнили поле, с любопытством рассматривая аэропланы. Но стоило подать сигнал к началу полетов, как аэродром тотчас очистился - все быстро заняли свои места.

Стартер махал флажком, и очередной аппарат с пугающим треском отрывался от земли, сопровождаемый восторженным гулом зрителей.

Заикин с несказанной завистью провожал глазами каждый аппарат. "Эх, был бы я там, - думал он. - Сердце бы втиснул в мотор - давай выше, к самым облакам!"

Облака висели недосыгаемо высоко - снежные пушистые перья с

краями, позолоченными солнцем. Казалось, стоит добраться до них - и можно на минуту остановить бег аэроплана, зацепившись за какое-нибудь бегущее облачко. Небо властно манило, притягивало к себе. Но хрупкие стрекозы, сделав два-три круга, тяжело валились вниз, словно обессилев. "Мяса на вас мало- вон вы какие тощие, - думал Заикин. - К вашему бы скелету мои мускулы". Аэропланы взлетали и садились, гул моторов мешался с ревом толпы и музыкой. Эта возбуждающая симфония звуков постепенно привела Заикина в ярость. Он сорвался с места и, бесцеремонно расталкивая впереди стоящих, кинулся к судейскому столу, во главе которого восседал сам шеф.

- Когда же я полечу, мсье Фарман?! Когда?!

Фарман посмотрел на Заикина так, как смотрит дрессировщик на вышедшее из повиновения животное. Ему услужливо перевели слова атлета, и тогда он спокойно, даже ласково сказал:

- Ваша очередь придет, не волнуйтесь, мсье Заикин.

"Взятие Бастилии"

Черный лимузин Карузо стал часто появляться в Мурмелоне, и



обитатели "Этампа" вскоре причислили певцов - итальянца и русского - к своим "друзьям дома".

Раза два из автомобиля выходила Мария Кузнецова, шурша пышными юбками и источая тонкий аромат духов. Волосы цвета воронова крыла, жгучие черные глаза и пунцовые губы при коже, приметно отдававшей ровной смуглотой, делали ее похожей на итальянку, и поначалу авиаторы принимали ее за соотечественницу Карузо. Своим певучим, чуть грудным голосом она здоровалась со всеми, не делая исключения даже для

старика-садовника, копавшегося в цветочных грядках.

Вскоре "Этамп" был, что называется, у ее ног. Поездки в Париж на спектакли с ее участием вошли в обыкновение. Русская колония разорялась на цветочных подношениях.

Кузнецова была не только ослепительно красива. Ей сопутствовала репутация первоклассной певицы. Наперебой зазывали ее лучшие оперные театры, она пела спектакли, в которых участвовали ярчайшие звезды оперных подмостков - Шаляпин, Баттистини, Карузо, Собинов, Ершов. Заурядная "Таис" с Кузнецовой в заглавной роли стала подлинным праздником искусства, и ее сентиментальный творец Массне поминутно утирал платком слезы восторга.

Кузнецова относилась к Заикину с каким-то сестринским добродушием и называла его не иначе, как "мой богатырь". Фарман благоговел перед русской красавицей, и Заикин с присущей ему мужичьей хитрецей решил обратить это преклонение шефа себе на

пользу.

- Мария Николаевна, будь благодетельницей, сослужи службу, - наклонился он к ней. И зашептал на ухо:

- Досель меня Фарман на аппарат не посадил. Так ты сделай милость, скажи ему, чтобы дал мне полетать, тебя-то он послушается. А то неволю мне стало вовсе: сижу тут которую неделю и все попусту. Может, и билетик ему подкинешь на спектакль, так он и вовсе раздобьется.

- Удружу, милый мой богатырь, непременно удружу, - промолвила Кузнецова с улыбкой. - Через два дня мы с Иваном Алексеевичем поем в "Аиде", так я абонирую места и для шефа и для вас, а потом попрошу господина Фармана навестить меня после спектакля в артистической и - вуаля - замолвлю за вас словечко.

Она грациозно присела в шутовском поклоне и засеменила к автомобилю. Через два дня Заикин, Мациевич, Габер-Влынский и Фарман подкатили к подъезду "Гранд-опера". Ульянов по обыкновению отказался от приглашения: он по-прежнему вел отшельническую жизнь, просиживая все вечера над чертежами.

Для них была оставлена ложа. Зал театра был полон, и Заикин, перевесившись через барьер, с любопытством разглядывал изысканно одетых посетителей. первых рядов партера. Те в свою очередь во все глаза смотрели на диковинного гиганта: бинокли и лорнеты без стеснения нацелились на ложу. Спектакль шел по-французски. Заикин плохо понимал происходящее на сцене, весь этот древнеегипетский антураж оперы был ему чужд и странен. Но великолепный лирико-трагедийный дуэт Аиды и Радамеса захватил его. Алчевский и Кузнецова вели свои партии безукоризненно, и зал "Гранд-опера", под сводами которого звучали голоса многих мировых знаменитостей, то и дело взрывался аплодисментами.

- Ишь, ровно птицы поют, - восхищенно протянул он, когда занавес мягко опустился. - Только птицы сердца не задевают, а тут щемит и щемит, великою болью отзывается. И скажи на милость. Лев Макарович, - обратился он к Мациевичу, - отчего в этом пении такая сила заложена? Вот сижу я, слов не понимаю, действия не

понимаю, а волнуясь, точно мне все эти фараоновы дети - свойственники.

Мациевич стал терпеливо растолковывать ему сюжет "Аиды". Заикин внимательно слушал, вертя в руках массивную трость черного дерева с серебряным набалдашником в виде львиных голов - подарок его киевских поклонников.

- О, какая превосходная вещь, - наклонился шеф. - Позвольте посмотреть.

Заикин протянул ему трость. И тут его осенило.

- Лев Макарович, скажи этому скупердяю, что дарю ему трость.

Мациевич понимающе усмехнулся и передал Фарману слова Заикина.

- Нет, нет, я не могу принять ее, - бормотал Фарман, возвращая трость борцу. - Не могу. Это королевский подарок. Я не заслужил.

- Не заслужил, это точно. Так постарайся и заслужи, - проворчал Заикин. А Мациевича попросил: - Скажи, что если не примет - кровно обижусь. Есть, мол, такой русский обычай...

Фарман продолжал отказываться. Но искушение было слишком велико. Шеф сдался.

После спектакля, дождавшись Кузнецову и Алчевского, все отправились ужинать. Улучив мгновение, Мария Николаевна, которую шумный успех сделал царственно красивой, отозвала Заикина и шепнула ему:

- Мой богатырь, ваша просьба исполнена. Фарман обещал мне, что вы начнете летать и он окажет вам максимальное внимание.

- Спасибо, королева, - Заикин наклонился к ее руке. - Скажу тебе: я и сам не оплошал - всучил ему дорогую трость. Истинно говорят: не подмажешь, не поедешь и уж давно не полетишь.

На следующий день Заикин проснулся в самом радужном настроении. Он предвидел перемены и, прихватив с собою Костина, поспешил на аэродром. У ангара толпились учлеты. Утро выдалось на редкость тихое, единичные облачка недвижно висели в небе, словно стайка привязных аэростатов. Все гадали, кто будет проводить полеты - Бовье или сам шеф. Наконец дверь маленькой

пристройки распахнулась, и на пороге показался Фарман с неизменной трубкой в зубах. Он улыбался и, заметив богатырскую фигуру Заикина, кивнул ему головой, как доброму знакомому.

- Пожалуйте, мсье Заикин.

- Ключнул, чертяка, - шепнул атлет Мациевичу и озорно толкнул его в бок, так что тот невольно поморщился.

Заикин вышел из толпы и, провожаемый завистливыми взглядами остальных учлетов, зашагал к аэроплану...

Шеф попросил Мациевича быть переводчиком.

- Скажите вашему другу, чтобы он внимательно следил за всеми моими действиями, сидел спокойно, ни за что не хватался и не раскачивался. Если он пустит в ход свою силищу, мы развалимся и напрямик отправимся на небо уже не в качестве авиаторов, а в качестве закоренелых грешников, - шеф хихикнул, обнажив желтые прокуренные зубы.

Мациевич перевел, и Заикин добродушно ответил:

- Пусть не беспокоится - бог меня не примет. Срок не вышел, и долгов много.

Фарман легко взобрался на пилотское место. Заикин уселся позади. Механики запустили мотор. Его горячее дыхание обдало Заикина. Аппарат скачками понесся по полю, набирая скорость. Колеса долго не отрывались от земли, и Фарман ожесточенно выругался.

Тряска прекратилась как-то сразу, и Заикин сообразил, что они оторвались от земли. Аэроплан плавно набирал высоту. Сердце билось ровными упругими толчками. Волшебное ощущение полета вновь охватило Заикина. Он осторожно поглядел вниз: под крылом проплывали деревья, домишки мурмелонского предместья, какие-то люди, задрав головы, следили за ними.

Заикин перевел глаза на Фармана. Он видел только его спину и руки, уверенно лежавшие на рычагах управления. Он не сводил глаз с этих небольших, по-женски изящных рук. Хрупкое сооружение тотчас отзывалось на их малейшее движение: аэроплан плавно разворачивался, ложась на обратный курс, поднимался,

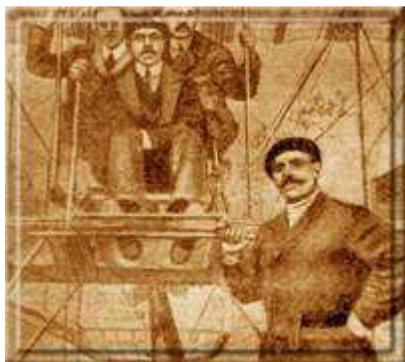
снижался.

Они пробыли в воздухе минут двадцать. Заикину эти минуты показались мигом и вечностью. Он не замечал ни ветра, свирепо хлеставшего в лицо и норовившего сорвать картуз, ни масляных брызг, запятнавших парадную рубашу. Фарман повел аэроплан на посадку. Земля стремительно бежала навстречу, будто норовя броситься на экипаж аппарата. Это было странное, ни на что не похожее ощущение, и Заикин невольно зажмурился. И тотчас его затрясло и швырнуло назад - колеса коснулись земли. Только тут он сообразил, что прозевал самое главное - управление при посадке, тот важный миг, когда Фарман нажимал какую-то ручку, сажая машину.

Было уже поздно, и спросить Фармана он не мог ни сейчас, ни потом. Он осторожно расправил затекшие от неудобной позы ноги и приготовился слезать. К аэроплану бежали люди. Это были его друзья- русские учлеты. Они буквально стащили Заикина с сиденья. Кто-то хлопал его по спине, кто-то жал ему руку, кто-то дергал за рубашу, а Заикин, счастливый, улыбающийся, не мог от волнения вымолвить ни слова. Он беспомощно переминался с ноги на ногу, и единственное, что удалось из него вытащить, это слово: "лихо!" Он повторил его несколько раз.

- Ты скажи лучше, как в милость к шефу попал? - приставал к нему Костин. Мациевич заговорщицки подмигнул ему, и Заикин понял, что штабс-капитан никому не выдал их тайны.

- Отличен за примерное поведение и успехи в словесности, -



сделав таинственное лицо, проговорил он. Все развеселились, услышав этот ответ.

Лев Макарович добавил, обращаясь к Костину:

- Фарман его во французскую веру обратил и языку выучил. Не слышал, что ли, как они там, наверху, беседу вели?

Для Заикина начались блаженные дни. Фарман специально являлся в "Этамп" для того, чтобы полетать с ним. Он явно благоволил к этому русскому гиганту и даже научился с грехом пополам объясняться с ним при помощи двух десятков нарочито исковерканных русских и французских слов. Все терялись в догадках о причине такого благоволения.

Однажды шеф предупредил Заикина:

- Ваш аппарат скоро будет готов. И тогда я вас быстро выпущу.

Это известие свалилось на него как снег на голову. Денег от Пташниковых не было. Помощников тоже не было, а уже сейчас следовало завербовать хотя бы двух опытных механиков, дав им аванс и заручившись их согласием ехать в Россию.

Он бросился разыскивать Мациевича и Ульянина. Найдя их, выложил сногшибательную новость.

Ульянин пожал плечами, а Мациевич, принимавший близко к сердцу все заботы своих друзей, разволновался.

- Мне кажется, - задумчиво изрек Ульянин, - надобно прежде всего найти механиков. Без них самолет для тебя, Иван Михайлович, - мертвая грудa дерева и железа, и платить за него такие деньги - сущая бессмыслица. Это первое и главное, чем нужно сейчас заняться.

- Сергей Алексеевич прав, - кивнул головой Мациевич. - И тебе, Иван Михайлович, нужно сделать это сей день. - Он на мгновение задумался, словно припоминая что-то, потом решительно произнес:

- Есть тут у меня на примете два хороших парня - Жорж Сабатье и Жан Вервье. Им у Фармана, по-моему, не сладко. Оба они молоды, семьями обзавестись не успели...

Ульянин одобрительно кивнул головой:

- Что может быть лучше?!

- Давай-ка, не откладывая дела в долгий ящик, отправимся к ним и попробуем их уломать, - закончил Мациевич.

Заикин бросился к нему и обнял плотного штабс-капитана с такой силой, что тот невольно застонал. Затем он пожал руку Ульянину, повторяя:

- Ой, складно, ой, молодцы. Век вас помнить буду. Пошли, Лев Макарыч, милый.

Уговорить Жоржа и Жана оказалось делом нетрудным. Молодые жизнерадостные парни, они страстно мечтали о путешествиях. А поездка в таинственную Россию виделась им как увлекательное путешествие. Если мсье Заикин, которого они успели полюбить за веселый и добрый нрав, гарантирует им то же жалованье, которое они получают здесь, и небольшое вознаграждение после окончания службы у него, а также проездные деньги, они готовы ехать с ним хоть на край света.

- Милые вы мои, да я вам больше положу, чем вы сейчас получаете, - растроганно пробормотал Заикин, когда Мациевич перевел ему слова механиков. Все складывалось удачно. Заикин, которого, они тотчас стали шутливо именовать шефом, обязался выплатить им небольшую сумму в качестве аванса. Когда возвращались, Мациевич вдруг остановился и сказал, будто его осенило:

- Знаешь, Иван Михайлович, для верности надобно было бы вручить им франки немедля.

Заикин уныло развел руками: у него оставалось всего-навсего два луидора. С такими деньгами не разгуляешься. Он мучительно размышлял, как быть- попросить ли взаймы у Алчевского или Кузнецовой. Но они не у себя дома, а на чужбине. Да и неудобно: только познакомились, а он уже в мошну к ним лезет.

Вдруг он хлопнул себя по лбу:

- Нашел! Деньги нашел!

Мациевич недоуменно посмотрел на него.

- Заложу золотые часы и чемпионский пояс. Давеча мне Костин говорил, что есть тут такие заведения, где под залог вещей деньги выдают.

- Есть закладные кассы, ломбарды...

- Так едем, Лев Макарыч, чего стоишь, - и Заикин потянул его за рукав. Операция закончилась удачно. Пяти тысяч франков, вырученных за часы и грудку золотых и серебряных медалей, могло

хватить и на задаток Жоржу и Жану, и на текущие расходы.

Довольные, они покатали в Мурмелон. Здесь Заикина ждал сюрприз. Ему сообщили, что Фарман присылал за ним "по важному делу". Тщетно теряясь в догадках, какое может быть у шефа к нему важное дело, атлет отправился в конторку, служившую Фарману и рабочим кабинетом и спальней.

- Рад вас видеть, мсье Заикин, - приветствовал его Фарман. - Хочу преподнести вам фотографию, где мы запечатлены в день вашего первого полета, - шеф обмакнул перо в чернильницу и вывел внизу свою подпись. "Ишь, черти лыковые, а говорили - по важному делу", - разочарованно подумал Заикин, принимая фотографию и внутренне чествуя и шефа, и тех, кто его разыграл.

- Но это не главное, - продолжал Фарман. Заикин насторожился. - Ваш аппарат готов. Вот он. Я приказал, чтобы он был усилен.

Шеф подвел Заикина к окну. Там стояла стрекоза, как две капли воды похожая на те фармановские аппараты, на которых летали его товарищи. Сбылась, наконец, мечта. Вот они, крылья, которые поднимут его к облакам. Атлет почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. От волнения он забыл поблагодарить Фармана и молча стоял, не отрывая глаз от аэроплана.

- К сожалению, мотор все еще не готов, - вывел его из задумчивости голос шефа. - Если хотите, я распоряжусь поставить старый, испытанный мотор. Разумеется, до получения нового.

Заикин порывисто обернулся и стал горячо благодарить Фармана. Только теперь до него во всей полноте дошло, что он стал обладателем собственного аэроплана. Он забыл, что залез в кабалу к мануфактуристам Пташниковым, что впереди долгие месяцы опасной работы для того только, чтобы рассчитаться с ними. Сейчас все это отошло куда-то в сторону. Была лишь переполнявшая до краев радость от сознания, что перед ним - крылья, которые понесут его в безбрежный голубой простор неба, туда, где вольно парят птицы. Все русские учлеты собрались поглядеть на заикинский аэроплан. Им передалась радость атлета. Поздравлениям не было конца. Даже полковник Зеленский,

надменный генштабист, державшийся все время особняком и внутренне презиравший всех этих недоучек, кухаркиных сынов, вознамерившихся вкусить от авиационной славы, с кислой улыбкой поздравил Заикина.

...Наступило 14 июля - день взятия Бастилии. Мурмелон оделся в праздничный наряд. Трехцветные флаги полыхали над каждым домом. По случаю национального праздника занятия в "Этампе" были отменены, персонал распушен. Летное поле опустело. Лишь у ангаров да у заводских строений маячили одинокие фигуры сторожей.

Обитатели "Этампа" слонялись без дела, не зная куда себя девать. Лишь Ульянин был доволен: он по-прежнему корпел над своими чертежами и расчетами, и эти три свободных дня были ему как нельзя кстати.

Томился и Заикин. Поначалу он решил было отправиться в Париж к своим друзьям и поделился этой мыслью с Мациевичем.

- Ну, что ж, Иван Михайлович, - без энтузиазма отозвался штабс-капитан. - В Париж так в Париж. Могу и я с тобой...

Мациевич отправился к себе - собираться. А Заикин неторопливо вышел на крыльцо "общежития" и прислонился к перилам, бездумно глядя перед собой. Вид пустынного поля неожиданно породил в его мозгу дерзкую мысль. Он минуту постоял, размышляя, потом торопливо сбежал со ступенек. "Если удастся найти моих механиков, дело в шляпе", - думал он.

Жорж и Жан собирались в Мурмелон, и, явись Заикин минутой позже, он бы не застал их. На своем странном диалекте, мешая русские и французские слова, атлет объяснил им цель своего прихода.

- О, тре бьен. Будем помогаль, - радуясь неожиданному развлечению, воскликнули они.

- А если шеф узнает? Не боитесь?

- Мы же служим у вас, мсье Заикин.

- Ну, тогда за дело. Бог не выдаст - свинья не съест, - обрадовался Заикин. - Пошли.

Подоспел Мациевич. Атлет объяснил ему свой замысел. Штабс-капитан с сомнением покачал головой и попробовал было отговорить своего товарища от дерзкой затеи. Но, видя, что Заикин упрямо стоит на своем, сдался. Подошли к сторожу. Заикин сунул ему пятифранковую монету, а Мациевич как можно внушительнее объяснил, что надо отпереть ангар и выкатить аэроплан "принадлежащий этому мсье".

Сторож долго колебался, но, видимо, присутствие двух французов, служивших, как он знал, у Фармана, убедило его. Аппарат Заикина был выкачен на поле. Жорж и Жан стали готовить его к полету.

Кругом по-прежнему не было ни души. Сторож лениво наблюдал за возней этих русских, для которых не существует праздника.

- Можно! - крикнул Жорж, возившийся с мотором.

Заикин забрался на пилотское место. Жорж крутнул пропеллер, и мотор затарахтел.

- Отпускайте! - крикнул он. Мациевич и Жан, удерживавшие аппарат за хвостовое оперение, проворно отскочили в сторону. Аэроплан побежал вперед все быстрее и быстрее, набирая разбег.

Вот он, задрав нос, повис над полем. Заикин взбирался выше и выше. Мотор ровно гудел. Аппарат слушался его, отзываясь на каждое прикосновение к ручкам управления.

Это было совсем не то, что сидеть бессловесным и бездеятельным пассажиром рядом с Фарманом или Бовье. Ощущение своей власти над машиной, ощущение того, что он волен лететь куда захочет, с безраздельной силой захватило его.

Он сделал плавный разворот. Другой. Третий. Над ним - рукой подать - курчавились облака. Заикин попробовал подняться выше, туда, к этим белоснежным стадам, но, видно, машина достигла потолка. Тогда он взял курс на Мурмелон.

По улицам фланировали толпы гуляющих. Шум мотора заставил всех как по команде задрать головы кверху. Каждому хотелось разглядеть смельчака, поднявшегося навстречу солнцу в этот знаменательный день. Он помахал им и увидел ответный всплеск

рук.

Сколько он находился в воздухе? Ощущение времени было потеряно. Скорее чутьем, чем умом, он почувствовал, что пора возвращаться.

Заикин взял курс на аэродром. Он пронесся над самыми ангарами, правя на середину поля, и краем глаза успел заметить толпу, видимо ожидавшую его, бледные лица Фармана и Бовье, задранные вверх.

- Пронюхали. Ужо будет мне, - мимолетно подумал он.

Но не разнос шефа страшил его сейчас. Аэроплан никак не удавалось посадить. Заикин лихорадочно вспоминал, стараясь не терять самообладания: "Ручка на себя - подъем, отжать педаль..."

Аппарат сделал крутой вираж, едва не перевернувшись.

Снова зашел на посадку. И снова, пронесшись над самой землей, взмыл вверх. Наконец он догадался выключить мотор. Заикин почувствовал сильный толчок - аэроплан ударился колесами о землю. Руки обмякли, и все его огромное тело обвисло на сиденье.

К нему бежали люди. Заикин увидел озабоченное лицо Мациевича, улыбающиеся, лукавые физиономии его механиков и - перекошенное от гнева - Фармана.

- Кошон! Оборванец! Вон из моей школы! - кричал шеф, в бешенстве потрясая перед лицом Заикина сжатыми кулаками. - Под суд! - Самообладание оставило Фармана. Шеф рвал и метал, топал ногами, сыпал угрозами. Казалось, еще минута - и он забьется в припадке.

- Успокойтесь, мсье Фарман, пожалуйста, успокойтесь, - уговаривал его Бовье, к которому присоединились Мациевич и Ульянов. - Ничего страшного не случилось. Мсье Заикин рисковал только собой и своим аппаратом.

- А я? Чем я рисковал? Мне закрыли бы фирму!

Их обступили русские учлеты. Не все были на стороне Заикина. Аристократ Зеленский процедил вполголоса:

- Ну что ты будешь с дураками делать...

Заикин услышал и, багровый от гнева, выкрикнул:

- Ты, господин полковник, умник и можешь тут три года сидеть на казенном-то харче, а я - дурак, поторопился и полетел. Потому как дорого мне достались деньги, заработанные на грязном ковре, и нету у меня больше мочи штаны тут просиживать.

Шеф быстро остыл и, не говоря ни слова, повернулся и ушел. За ним зашагали Бовье и Зеленский.

Заикина окружили соотечественники. Ульянин добродушно хлопнул его по плечу и сказал:

- Взял ты Бастилию, Иван Михайлович! Фармановскую. Такое надобно обмыть.

Домой!

И все-таки шеф не отчислил Заикина. Он лишь подчеркнуто старался не замечать его при встречах и не отвечал на поклоны атлета, делая вид, что ему все равно и что этот русский слушник для него не существует. Теперь Заикин был волен как птица. Оказавшись "вне закона", он делал что хотел.

Никто не препятствовал ему летать, и друзья с завистью следили за тем, как аппарат Заикина реет в небе.

Главным ассистентом и наставником Заикина стал Жорж.

- Вам надо набить руку на посадке, мсье Заикин, - внушал он. - Это главное. Высота - пустяк, потом будете взбираться выше.

И Заикин "набивал руку". Он научился плавно и мягко касаться колесами земли, каким-то шестым чувством улавливая момент, когда нужно сбавлять обороты и браться за рукоятку.

Этот медведь, этот отчаянный русский "люттёр" - борец делал несомненные успехи. И Фарман, далеко не равнодушный к славе своей школы и к успехам ее питомцев, постепенно сменил гнев на милость. Он чувствовал, что этот русский, чья смелость и настойчивость вызывают изумление, станет настоящим пилотом-асом. А Фарман ценил мужество, ибо сам был мужественным человеком. Поэтому, встретив как-то Заикина, он изобразил на своем лице подобие улыбки, вынул изо рта неизменную трубку и сказал:

- Вот что, мон брав Заикин. Вам у меня больше делать нечего - вы доказали, что все умеете делать сами, - поэтому я назначаю вам экзамен на "бреве де пилот" и - адье. Иначе вы разверните мне всех остальных, - добавил он с кривой усмешкой.

Испытания Заикин сдал блестяще.

- Тре бьен! - односложно сказал шеф и крепко пожал ему руку. Это было примирение. Больше того:

Фарман предложил Заикину принять участие в авиационной неделе в Риме.

- Не могу, - односложно ответил атлет. - Меня ждет Россия.

Начались предотъездные хлопоты. Надо было купить ангар, запасные части, вызволить заложенные вещи, заказать рекламные плакаты, наконец, разобрать, погрузить и отправить все имущество, включая аэроплан, на родину. Нужны были деньги - и немалые. Но Пташниковы не отзывались. Наконец он получил телеграмму, заставившую его бросить все и выехать в Россию: мануфактуристы били отбой, не желая больше финансировать "авантюру" борца. Заикин был разъярен.

- Главное, ты не механик и в этом деле не смыслишь, - втолковывал ему одутловатый, не по годам расплзшийся Николай Пташников.

- Отними от вас брюхо, тоже был бы человек, - зло выпалил атлет, и Пташников прикусил язык.

На семейном совете Пташниковы решили выдать Заикину деньги. Это решение принято было после долгих дебатов: масла в огонь подлило письмо старшего брата. "Как хотите, так и делайте, я могу свою часть уделить, но только знайте, что это артист, ловкий парень. Он может и надуть..."

"В ножик перед ними складывался, что сова сжимался, а душа так и кипит, - с негодованием рассказывал Заикин Куприну. - Для них, толстопузых, мечта человеческая - звук пустой. Взяли и растерли, как плевок".

Выдали деньги, но взамен приставили к Заикину "своего человечка" - Кузьму Травина, "чтоб не роскошествовал и попусту не транжирничал".

Травин - бесцветный, с вытянутой лисьей физиономией и бегающими глазками - следовал за атлетом как тень.

- Первым делом, господин хороший, нужно мои вещи выкупить, - решительно сказал Заикин, когда шофер такси вез их по Большим Бульварам.

- Не знаю, - пробормотал Травин. - Об этом не говорено.

- Зато я знаю, - рубанул ладонью Заикин. Заикин заказывал ангар, запасные части, рекламные плакаты. Счет пошел на тысячи. Травин

всплескивал руками, стонал, что хозяйева снимут с него голову, что никто не уполномочивал его тратить такие деньги. Но Заикин был неумолим, и соглядатаи, тяжело вздыхая, подшивал одну расписку за другой.

В Мурмелоне Заикина встретили так, словно он возвратился в родную семью после многолетнего отсутствия. Добрым напутствиям не было конца. В сердце у него шевельнулось что-то похожее на грусть. Он оставлял здесь частичку самого себя, людей, к которым привязался крепко и навсегда.

Больше всего сокрушался Лев Макарович Мациевич, которого уже связала с Заикиным душевная дружба, несмотря на то, что были они людьми разного склада и общественного положения. Мациевич - дворянин, получивший хорошее по тем временам образование, сердцем привязался к полуграмотному волгарю, потомку крепостных и недавнему бурлаку, чужая в нем незаурядные человеческие качества, широкою душу и своеобразный талант.

Заикин трогательно простился с Мациевичем. Они обнялись и расцеловались. Перед этим он без колебаний разрешил штабс-капитану совершить полет на его аэроплане, хотя Жорж, его ментор, и, конечно, Травин, были против. Жоржа он оттянул за рукав, а на Травина просто цикнул, когда тот промямлил, что-де "не ведено" и он, Травин, "доложит хозяйевам".

Подошел и Ульянин.

- Может, и мне дозволишь, Иван Михайлович?

- Как не дозволить, Сергей Алексеич. Я тебя век помнить буду.

- А не боишься? Ведь я уже дважды колотил учебный самолет. Правда, Фарман сам виноват - дал мне аппарат с неисправным мотором "панар", да еще вдобавок битый-перебитый. Он и сам признал, что моей вины нет.

- Ну, коли сам признал, то мне нечего бояться, - усмехнулся Заикин. - У меня-то аппарат в исправности. Лети.

- А я не позволю, - неожиданно взвизгнул Травин. - Я буду жаловаться...

Заикин поднес к его носу увесистый кулак и смачно произнес:

- А это видал? Вот твой хозяин. А ежели ты его не признаешь - скатертью дорога. И вообще ты мне надоел. Вот-те бог, а вот порог. Бери билет в Одессу и катись. Скажешь там: Заикин велел.

Он схватил Травина, повернул его спиной и легонько поддал коленом.

- Вот и все. Теперь я свободен как птица. Еду в Россию. Жорж, Жан, собирайтесь!

...На Харьковском вокзале его встречал Ярославцев, а вместе с ним - толпа почитателей. Заикин был растроган. Он пожимал протянутые руки, улыбался, благодарил.

- Реклама, - подмигивая, шептал Ярославцев. - Будет полный сбор. В Сумах и Белгороде тоже афиши развесили, да и весь Харьков обклеили. Вон, гляди-ка. Заикин посмотрел туда, куда указывал Ярославцев. На станционной стене белела афиша: "Летун-богатырь Иван Заикин..." На фоне земного шара красовался портрет самого Заикина, а сбоку была намалевана смерть с косой.

- Здорово ты придумал, - одобрительно добавил антрепренер. - Особенно смерть с косой. На нее все и клюют.

- Я с ней, голубушкой, все время в горелки играю, - серьезно сказал Заикин.

- Придет время, и она меня догонит.

К ним подошел какой-то железнодорожный чин.

- Господин Заикин?

- Он самый. Чем могу служить?

- Вы должны заплатить за доставку груза пассажирской скоростью.

- А много ли?

Железнодорожник назвал цифру, и Заикин крикнул. Он вопросительно взглянул на Ярославцева, но тот отрицательно помотал головой, давая понять, что денег нет.

- А вы не могли бы подождать до послезавтра? - как можно любезнее произнес Заикин. - Отлетаю, будет сбор, тогда и расплачусь. А?

- Вы сами понимаете - дело казенное. Я своей головой отвечаю.

Впрочем, если до послезавтра, то, пожалуй, можно, - нерешительно пробормотал он. - Только уж вы бумажечку-то подпишите. Он не подозревал, что слова эти, сказанные в шутку, обернутся самой настоящей правдой.

Добровольные помощники - борцы, любители, студенты - ставили ангар, ассистировали Жоржу и Жану, собиравшим аппарат. Желая хоть как-то отблагодарить их, а заодно и проверить машину, Заикин совершил несколько кругов над ипподромом. Аэроплан вел себя хорошо. Довольный, он отправился с визитами к губернатору и полицмейстеру: надо было оставить приглашения, а заодно получить разрешение на полеты.

- Летаете, значит? - осклабился полицмейстер, подписывая разрешение. - А когда сядете?

- Начальству виднее, - в тон ему ответил Заикин.

- То-то, - полицмейстер был явно доволен догадливостью атлета. - Тут у нас еще один летун есть. Гризодубов Степан. Направления неблагонамеренного. Боюсь, как бы не сел он... в местах отдаленных. С социалистами якшается.

- Ах, как нехорошо, ваше высокоблагородие, - притворно вздохнул Заикин. Он был заинтересован. - А на чем же этот Гризодуб летает?

- В том-то и дело, что он пока еще не взлетел, да и вряд ли мы дозволим это, - строго ответил полицмейстер. - Строит у себя в мастерской аппарат.

Любопытство Заикина было возбуждено. Распровавшись с полицмейстером, он отправился на поиски Гризодубова. Это оказалось делом нетрудным: первый же встречный мальчишка провел его к мастерской изобретателя. Его встретил высокий черноволосый человек, с настороженным взглядом, на вид лет двадцати пяти. Пики усов придавали его лицу воинственное выражение.

- Что вам угодно? - подозрительно оглядел он Заикина, стоя в дверях.

- Я Заикин. Мне бы господина Гризодубова...

Незнакомец неожиданно улыбнулся, и эта улыбка преобразила его.

- Милости прошу, Иван Михайлович. Рад вас видеть. - Он посторонился, пропуская гостя.

- Слышал я про ваш аппарат. Хотелось бы взглянуть...

- Я еще не закончил сборку, - пояснил Гризодубов, пока они шли через сени во двор, где была мастерская, - но общее представление составить можно. Основные очертания взял я у Райтов, - доверительно продолжал он, - знаете, выпросил у механика кинематографа кусок ленты со снимком аэроплана, ну и начал мудрить по-своему.

Чем дальше слушал Заикин, тем более удивлялся самоотверженности, упорству и золотым рукам этого самородка. Глядя на его биплан, еще не законченный сборкой, он видел, что это по-существу оригинальный аппарат с несущим стабилизатором, которого не было у Райтов. В небольшом сарайчике, заменяющем ему мастерскую, Степан Гризодубов построил и бензиновый двигатель - копию распространенного французского мотора Эсно-Пельтри. Но этого ему показалось мало, и он изготовил другой - сорокасильный мотор собственной конструкции.

- И это все здесь? В сарае?

- Да, здесь, - застенчиво ответил Гризодубов. - Все, кроме цилиндров. Этот орешек мне не удалось разгрызть - техника, как видите, не та.

- Низкий поклон мой прими, милый, - обнял его Заикин, переходя на "ты", что было верным признаком его благоволения к человеку. - Когда же ты полетишь?

- Да вот, думал, месяца через два. Надо успеть аппарат собрать, мотор опробовать. Ведь это я все между делом, без помощников...

- Исполать тебе, добрый молодец. А пока приходи посмотреть на мои полеты. Не придешь - обижусь. И вот что. Полицмейстер мне сказал, что ты у него на примете - с какими-то социалистами якшаешься. Так ты - того, смотри: полицмейстер-то у вас глазастый.

- Смотрю, - улыбнулся Гризодубов.

- И молчи.

- Молчу.

- То-то, - Заикин снова обнял его. - Люб ты мне, мастер, вот что.

Пойдешь ко мне в механики?

- Спасибо на добром слове, Иван Михайлович, но только задумал я в Севастопольскую школу пилотов податься. Надобно летать научиться.

- Ну что ж, я тебя не неволю. А на полеты приходи.

Заикин возвращался к себе в самом хорошем расположении духа. Ульянин, Гаккель, Гризодубов... Не оскудела русская земля талантливыми людьми. Придет время, и не нужно будет ездить на поклон к Фарману - станет Русь крылатой без помощи иноземцев.

Лег он рано, но уснуть не мог. То ли разворошил мысли визит к Гризодубову, то ли завтрашний полет, - он долго ворочался с боку на бок. Какие-то смутные предчувствия томили его, и сон долго не шел.

Часов в десять утра к нему ворвался Ярославцев.

- Четыре кассы торгуют на полную катушку, - ликовал он. - Уже двенадцать тысяч есть. Должны еще поезда из Сум и Белгорода подойти. - Он зашагал по комнате, но, кинув случайно взгляд на Заикина, оторопел.

- Ты не заболел ли, часом? Эвон, какой желтый.

- Так... Ничего... Голову что-то ломит. Подай-ка полотенце. Да уксусом побрызгай. Как погода?

- Да так, ветерок подувает, - беспечно ответил Ярославцев. - Думаю, утихомирится малость.

Ипподром охватила живая людская стена. Ветер не унимался. Он игриво хлопал флагами, хлестал ветками деревьев, гнал по дорожкам пыльные смерчки. Жорж и Жан сосредоточенно готовили аэроплан к полету. Лица у них были хмурые.

- Нельзя летать, мсье Заикин. Погода дрянь, - обратился к нему Жорж.

- Подождем, поглядим...

Губернаторскую ложу, расположенную прямо против серых длинных конюшен, заполнило высокоименитое харьковское общество. К столу арбитра, за которым восседали Заикин и Ярославцев, с разных сторон семенили двое. Одного Заикин узнал - это был полицмейстер. Другой - сухонький генерал, по виду кавалерист, при побренькивавших регалиях. Он опередил полицмейстера, задержавшегося для наведения порядка и инспекции чинов полиции, выстроенных на поле.

- Это вы Заикин? - подозрительно покосился на него генерал.

- Я, ваше превосходительство, - ответил атлет, вскакивая.

- Я запрещаю вам полеты! Да-с! Слышите?

- Слышу-с. Как прикажете понимать?

- А вот как: вы мне всех лошадей испортите, летая над конюшнями. Рысаки-орловцы, по десять тыщ за них плачено, трескотни пугаются.

- Помилуйте, ваше превосходительство, где же тогда летать? В России везде лошади и везде... генералы.

- Что-с? Я не ослышался? Вы равняете меня с лошадьё?

- Позвольте, как можно...

- Не позволю! - распалился генерал. - Грубиян, невежа! Никаких полетов. Я иду жаловаться губернатору. - И генерал, бормоча, круто повернулся и зашагал прочь.

- Ишь, какой жаркий. Точно печка. Ну, видно, бог меня нынче уберег от полета. Ишь, ветрище какой, - довольно протянул Заикин.

Подоспел полицмейстер и, выслушав рассказ о генеральских претензиях, небрежно махнул рукой.

- Ничего не будет. Это у нас, как сочинитель Чехов описал, - свадебный генерал. Покипит и остынет. От старости заходится, - и полицмейстер красноречиво покрутил пальцами в воздухе. - Однако пора начинать, господин Заикин. Именитые особы прибыли.

- Боюсь, сегодня придется отменить полет. Очень сильный ветер, ваше высокобродие.

- Это как так?

- Очень просто: шмякнет аэроплан оземь, и конец.

- Э, нет, милейший. Губернатор с супругой прибыли, думские все, дворянство... Приказываю лететь. И без происшествий.

- Надо лететь, Ваня, - неожиданно вмешался Ярославцев. - Выручка за пятнадцать тыщ перевалила...

- Вот именно. Деньги собраны, разрешение дано. Извольте же лететь.

Заикин в сердцах пнул ногой стул и встал. "Идолы, им бы только потешить себя да мощну набить, а то, что я, может, рискую, на это им наплевать", - зло думал он. Странная колючая тоска сжала сердце. Он не видел трибун, не слышал выкриков, рукоплесканий.

Аэроплан подкатили ближе - к трибунам. Заикин неуверенно подошел, взобрался на сиденье, раскланиваясь во все стороны, как автомат. Мельком заметил, что его механики стоят как в воду опущенные. "За меня переживают", - подумал он, и на мгновение внутри у него потеплело.

Легкий аппарат тащило ветром, и трое дюжих рабочих с трудом удерживали его на месте.

- Давай контакт! - крикнул он и включил зажигание.

Мотор взревел, и "Фарман", будто подброшенный чьей-то рукой, почти без пробежки взмыл вверх. Тугая волна ударила Заикина, завывла в "снастях. Аэроплан бросало из стороны в сторону. Вдруг он накренился и стал падать вниз.

Он плохо помнил, что было дальше. Рули отказали. Последним усилием выжал ручку...

Грохот и треск слились с протяжным выдохом трибун:

- Убился! Убился!

...Заикин приподнялся; напрягая силы и выплевывая землю, забившую рот, поднял руку. Последнее, что он услышал, был разочарованный женский возглас:

- Кричали убился, а он жив!

Атлет пришел в себя уже в больнице. Лицо было обезображено, раны саднили. "Дешево отделались, - буркнул врач. - Через неделю на ноги поставим". Заикин был на ногах уже через два дня: богатырский организм внес существенную поправку в медицинский

прогноз. Другие беды подстерегали его. Ярославцев сбежал. Выручка была опечатана. Кредиторы толпились у больничных дверей. Аппарат являл собой грудку искореженного металла и дерева. Помог Степан Гризодубов и другие харьковские мастера. Вместе с Жоржем и Жаном они совершили невозможное - восстановили аэроплан за два дня. Заикин поднялся над Харьковом. Караван кучевых облаков плыл почти над самой землей. И Заикину казалось, что он срезает крыльями их бугристые, рваные края. Город лежал под ним, словно нагромождение кубиков.

На земле объявился Ярославцев. Он бил себя в грудь и клял за малодушие. Увидя, что Заикин простил его, Ярославцев оживился и зашептал:

- Харитонов и Картаманов, киношники, ленту сняли - "Полет и падение Ивана Заикина". Куш с них можно урвать. И пару копий. А? Как ты думаешь?

Заикин равнодушно махнул рукой.

- Давай: рви, кусай, захапывай.

Выручки едва хватило на расчет с кредиторами. А еще Пташниковы... Переезд... Жорж и Жан...

"Крест на мне - авиация. Только за какие грехи? - невесело думал он. - Не жаден, людей люблю, жалею, за славой не гонюсь".

"Хошь голову снеси - была б слава Руси", - вспомнилась ему болгарская поговорка. Да, ради этой славы многое стоило претерпеть.

Король шутов

Воронеж был резиденцией Анатолия Леонидовича Дурова.



Циркачи называли этот старинный русский город "дуровской столицей", а самого Дурова - "Почитай-губернатором". Власти предержавшие во главе с истинным губернатором основательно побаивались язвчатого клоуна, гордо именовавшего себя королем шутов, но не шутком королей.

Он высмеял спесивого воронежского полицмейстера Мишина так, что тому не стало проходу. Дуров вывел на арену осла и воскликнул: "Этот осел - Мишин".

Взрыв смеха потряс своды цирка. И тогда клоун с серьезной миной добавил: "Нет, вы меня не так поняли. Я хотел сказать, что этот осел принадлежит нашему клоуну Мише".

Шутки Анатолия Дурова облетели всю Россию. Горький писал о нем, что Дуров "был тем волшебником, который в отравленный источник печали влил каплю, одну только каплю живой воды - смеха - и сделал его целебным, дающим силу и жизнь". "Для своего времени Анатолий Дуров был чрезвычайно яркой фигурой: его сатирические выходки против полиции и против властей вообще, были чрезвычайно смелы", - вторил ему Куприн.

Список губернаторов, полицмейстеров и других начальственных лиц, нанизанных на дуровскую булавку, рос буквально помесячно. Одесский градоначальник адмирал Зеленый, самодур и держиморда, "изволил посетить" буфет цирка Малевича, когда там находился Дуров. Все верноподданнически вскочили, и лишь один клоун продолжал сидеть, как ни в чем не бывало.

- Встать! - рявкнул Зеленый. Дуров демонстративно отвернулся.

- Скажите этому олуху, что я - Зеленый, - приказал адмирал

своему адъютанту.

- Вот когда ты созреешь, я буду с тобой разговаривать, - спокойно бросил ему Дуров и вышел. Вечером Дуров выехал на манеж. Под ним была свинья, выкрашенная в зеленый цвет. Цирк сотрясался от хохота. Адмирал, багровый от гнева, кричал из ложи: "Под суд! Арестовать!"

На арену выскочил дежурный пристав и ткнул свинью ножами шашки. Выбежал содержатель цирка Труцци и вместе с приставом пытался утащить свинью. Зеленая свинья с визгом металась по арене. Люди стонали, падали с мест от смеха. Когда веселье достигло апогея, хладнокровный Дуров увел свинью с арены.

Дурову было предписано убраться из города в двадцать четыре часа. Он запряг зеленую свинью в тележку и под ликующие крики одесситов проехал по Дерибасовской. Таков был финал этой истории. Адмирал Зеленый был уничтожен. Однажды, как это было положено, Дуров принес в полицию афишу "на дозволение". Кроме всего прочего, в афише значилось: "Хор свиней исполнит несколько песен..."

- А где слова песен, господин Дуров? - в простоте душевной спросил полицейский чин.

- Свинячьего языка не понимаю и по-свински не разговариваю, - отрезал клоун. В тот же вечер на представлении он прошелся по адресу полицейской цензуры и ее строгостей и закончил свой монолог импровизированным куплетом:

*Тут, отлично знаю я,
И цензура не поможет:
В наше время и свинья
Без цензуры петь не может.*

Николаевский градоначальник генерал Киссель постоянно придирался к Дурову. На одном из представлений клоун поставил перед свиньей несколько мисок с разным пойлом. Одна из мисок была наполнена киселем. Аккуратно вылакав миски, свинья не

прикоснулась к киселю. Хрюкнув, она затрясла мордой и кинулась прочь.

- Вот видите, свинью и ту воротит от киселя, - прокомментировал Дуров (он полил кисель нашатырным спиртом). Генерал понял намек и выслал Дурова из города. Таков был этот король шутов, клоун-трибун, великий мастер обличения, претерпевший все - высылку и отсидку, штрафы и рукоприкладство. И он продолжал свое.

- Единственно, чего недостает животным, так это дара речи - умения выражать свои мысли словами. Но, право же, если это отличие человека от животных - дар слова - употреблять для сквернословия, как это делает в Государственной думе Пуришкевич, то об этом жалеть не приходится.

Дуров разбрасывал на арене несколько газет и шуточно предлагал свинье выбрать газету по вкусу. Та тыкалась пяточком в номер "Гражданина", черносотенной газеты, издававшейся мракобесом князем Мещерским. Дуров хладнокровно изрекал:

- Вот свинья и газету себе выбрала свинскую. Заикин ехал к "Почитай-губернатору". С ним его связывали узы дружбы. Они выступали у Труцци и Саламонского, у Никитиных и Чинизелли - борец и клоун, две звезды русского цирка. Дуров занимал третье отделение - "хоть третье отделение меня не жалует"; Заикин обычно появлялся во втором.

- После меня тебе будет трудно, - объяснял Дуров. - Публика выдохнется и перестанет аплодировать.

Он относился к борцу добродушно, с легким оттенком насмешливости, называл "Ванькой-крючником" и "рыцарем телеграфного столба".

Заикин любил и побаивался его. Острый язык Дурова ранил походя. Было в Леонидыче что-то барственное; в отличие от других клоунов, он почти не употреблял грима, а на улицах появлялся в безукоризненном костюме с неизменной тростью и лорнетом, больше похожий на богатого помещика или предводителя дворянства, чем на циркового артиста. Он и в самом деле был

представителем старинного дворянского рода, откуда вышла кавалерист-девица Дурова, героиня Отечественной войны, был жалован какими-то медалями и даже звездой эмира Бухарского, которая сияла на его груди во время представлений.

Заикин ехал в Воронеж. А впереди бежали были и небывлицы о его полетах и падении в Харькове. Смерть с косой, намалеванная на афишах, уже караулила его на заборах и тумбах "дуровской столицы".

Харьков остался в памяти, как дурной сон. Всей выручки не хватило, чтобы свести концы с концами. Пришлось выступить в местном цирке. Только тогда удалось расплатиться с Пташниковыми и выкроить денег на дорогу.

На вокзале были, правда, сердечные проводы. Их омрачил мертвецки пьяный помещик. Он лез целоваться, зажав в руке две катеринки, и тянул:

- Ха-чч-у с то-боой ле-тать. Т-олько н-не ур-ро-ни... Откуда-то вывернулся полицмейстер и назидательно сказал:

- Летать - летай. Но не падай. Людей пугать не положено. Так-то.

- Постараюсь, ваше сковородие, - насмешливо ответил Заикин. - Таперича я понял: главное, чтоб люди не пугались. Сам, значит, погибай, а публику не пугай.

- Ну-ну, забыл с кем разговариваешь!

- Невозможно забыть такую прекрасную личность, ваше сковородие, - невозмутимо продолжал Заикин. И полицмейстер почел за благо удалиться: величание сковородием на людях тотчас вызвало иронические ухмылки.

Дуров встречал его на перроне в окружении множества людей. Среднего роста, он казался выше многих благодаря своей осанистости. Они расцеловались. И затем Дуров, обведя широким жестом толпу встречающих, игриво сказал:

- Рекомендую: свита короля шутов. А это - Иван Заикин, рыцарь телеграфного столба, самодержец бурлацкий, король железа, царь борьбы, великий князь аэропланский и прочая, и прочая, и прочая.

Заикин машинально поклонился, и в толпе раздалась смешки.

- Ну-с, поехали ко мне в усадьбу. Еленочка тебя ждет-не дождется. Ей ужасно хочется вознестись на небо. А я повременю. И отпрыск Толька интересуется. Тут у нас еще никто живого авиатора в глаза не видал.

- Ох, и шутишь же ты, Анатолий Леонидыч. Как это ты меня давеча величал: самодержец, царь, великий князь... Намек на высочайшую особу. А рядом пристав стоял.

- Ничего, они тут у меня дрессированные. Как мои свиньи, - невозмутимо ответил Дуров. - Стоят по стойке смиренно и верноподданнически хрюкают.

- Кто, свиньи? - не понял Заикин.

- Да нет, полицейские. Заикин расхохотался.

- Еще одна знаменитость к нам пожаловала - Федор Шаляпин, - продолжал Дуров. - Твой конкурент.

- Нешто он у меня сбор сорвет? - усомнился Заикин.

- Да нет, чудо-дерево. Помнишь, как он в цирке "Модерн" подкову ломал?

- Не при мне это было. А сломал?

- Не вышло. Застеснялся. А лет десять назад - сломал бы.

Просторный дом Дурова был по-своему примечателен. Входящих встречала на калитке надпись: "Кто приходит ко мне - делает удовольствие, кто не ходит - делает одолжение".

Хозяин дома был вообще любителем надписей. Они висели всюду: в гостиной и спальней, в прихожей и рабочем кабинете, в саду и дуровском домашнем музее. Лишь хозяйский девиз был прост и незатейлив:

"Жить остается немного -надо торопиться работать", а остальные смахивали на афоризмы Козьмы Прутков: "Только фонтан бьет снизу вверх, обычно бьют сверху вниз", "Наш путь - короткая дорога от метрики до некролога", "И в раю тошно жить одному", "Не так опасно споткнуться, как обмолвиться". В саду был сооружен небольшой террариум, который, видимо, поначалу был задуман как бассейн для фонтана. Дуров запустил туда сухопутных черепах, расписав их панцири надписями: "Наша конка",

"Городское хозяйство", "Просвещение". Была тут и черепаха с двумя буквами "Г. Д." - Государственная Дума, которые для сановных посетителей расшифровывались, как "господин Дуров".

Заикин ходил и дивился. Дивился щедрой талантливости и выдумке Дурова. Он был и стихотворцем сатирического склада, и изрядным художником - всюду висели картины, писанные почему-то только на стекле и какими-то диковинными красками, которые составлял сам Дуров. Он, кроме того, был жаден до всяких диковин, редких и красивых вещей - от египетской мумии до народной одежды, от старинной посуды до японского и китайского фарфора и лака, от чучел, которых, кстати, было у него великое множество, до древних манускриптов. Комнаты и музей были увешаны этюдами и картинами Айвазовского и Боголюбова, Якоби и Яковлева - в большинстве своем современников Дурова, почтивших его талант созданиями своей кисти.

- Чистая кунсткамера, - заключил Заикин, осмотрев все дуровские богатства.

- Был бы я пограмотней, написал благодарствие. Не пойму только, зачем это все тебе.

- Надоели монстры говорящие, собираю монстров молчащих, - загадочно ответил Дуров. - А теперь пойдем обедать: делу - время, потехе - час.

За столом было шумно и весело. Анатолий Леонидович развлекал гостей с большой выдумкой и потчевал щедро: дом Дуровых славился хлебосольством, несмотря на сравнительно скромный достаток хозяина. Он болтал с Жоржем и Жаном на плохом французском языке, вышучивал простецкие манеры Заикина, подтрунивал над сыном, двадцатитрехлетним юношей, встрепанным, живым и бойким на язык, как отец.

- Анатолька-то наш хочет по моим - стопам пойти - клоуном стать. Так ведь не та статья - худ, ростом мал, не нахал. Урезонь ты его, Иван, пожалуйста. А то и силой, силой согни. Будет шут-побьют, а мне, отцу, жалко, уж лучше своя палка...

- Ты ровно балаганный дед - так стихами и сыплешь, -

добродушно заметил Заикин.

- На сие число - мое ремесло, - не моргнув глазом, срифмовал Дуров. - У них, дедов, и учился и, как видишь, наловчился.

В разгар обеда явился посланец Шаляпина - его доверенное лицо и секретарь Исай Григорьевич Дворищин. Бывший артист провинциальной оперы, обладатель недурного, хотя и слабенького тенора, он чем-то приглянулся Шаляпину и стал его тенью. Щуплый Дворищин был единственным человеком, способным укротить припадок буйного шаляпинского гнева, что служило постоянной загадкой для всех, знавших великого певца.

- Исай Григорьевич, к столу! - крикнул Дуров, состроив свирепую физиономию.

- А не то отдам на съедение своим четвероногим. Двуногие же - сами съедят. Без предупреждения.

Дворищин засмеялся и стал отказываться.

- Федор Иванович просил вас, Анатолий Леонидович, с супругой и чадами, и вас, Иван Михайлович, с коллегами быть его гостями сегодня вечером в городском театре, - чинно произнес он. - Всем вам загнуты билетки в первом ряду, несмотря на противодействие господина антрепренера.

- Ишь, какой прыткий, - удивился Дуров. - А откуда Федор знает, что Иван здесь?

- Из афиш. Опять же Заикин - знаменитость, "Шаляпин русских мускулов", как прозвали его парижане...

- Верно. Шаляпин о Шаляпине знать должен, - подхватил довольный Заикин.

- Федор Иванович вообще большой любитель борьбы, - добавил Дворищин, - ни одного интересного чемпионата не пропускает. Он и сам занимается упражнениями.

Дворищин церемонно откланялся и ушел. Вслед за ним отправился и Заикин, условившись встретиться с Дуровыми у театра. Надо было проверить, как идет подготовка к полетам.

Вечером они уселись все в один ряд, как приказал Шаляпин. Концерт долго не начинался. В публике чувствовалось нетерпение.

Люди принимались хлопать, голоса сливались в оглушительный гул.

Наконец на сцену стремительно вышел, вернее выбежал, Шаляпин. За ним, едва попевая, шагали аккомпаниатор Покрасс и антрепренер Резников.

Зал затих как-то сразу, словно на людей накинули ватное одеяло.

Певец облокотился на рояль, держа в руке тонкую нотную тетрадку. Лицо его было строго. Широкие крылья ноздрей раздувались, белесые брови сдвинулись к переносице.

Он едва приметно поклонился и запел. И тотчас в зале воцарилась Ее Величество Музыка. Он пел "Блоху", "Как король шел на войну", "Сомнение", "Старого капрала" - все свое, русское, то разудало призывное, то лирически напевное, и зал радовался, светлел, грустнел, отзываясь на каждую фразу. Иногда Заикину казалось, что Шаляпин поет только для них, друзей, но когда он неприметно оборачивался, то встречал взгляды, прикованные к певцу и словно бы получающие ответные токи со сцены.

Концерт затянулся - Шаляпин пел много и щедро. Когда в последний раз опустился занавес, они поспешили за кулисы. Артист, возбужденный, потный, встретил их радостными восклицаниями и поочередно заключил в объятия.

- Ты не представляешь, как приятно мне было, - гремел он, обращаясь к Заикину. - Еду с вокзала и вижу афишу: "Летун-богатырь Иван Заикин". Иван в обнимку со смертью. Земля треснула, он воспламенился и полетел. Со своими-то пудами. Каково, а?

Дуров потеплевшими глазами смотрел на них, огромных, сильных, упиравшихся чуть ли не в потолок низенькой артистической уборной. Наконец, он хлопнул в ладоши:

- Дамы и господа, слушай сюда, как говорят в Одессе, а мы с вами в сем славном городе провели вместе немало веселых дней: сейчас мы все едем ко мне ужинать.

Шаляпин стал отказываться, к нему присоединился и Заикин.

- Поздно, да и устал я. Освободи, сделай милость. Как-нибудь в

другой раз.

- Федор Иванович поет послезавтра в Ростове, ему надо отдохнуть, - поддержал Дворищин.

Дуров неожиданно надулся, выкатил глаза и рывкнул:

- Не потерплю! Раз-зорю! Ма-ал-чать! С кем разговариваешь?!

- Сдаюсь, ваше сиятельство, - захохотал Шаляпин, подняв вверх руки. - Всеподданнически повинуюсь.

- То-то, - удовлетворенно произнес Дуров. - Распустил я вас. Свободы захотелось, мужичье, дуболомы. Мало вам государевой конституции со свободами куцыми. Марш в коляску!

Дворищин пробовал было возразить, но Дуров, выразительно глянув на него, крикнул:

- Поговори у меня! Ув-волю!

Ночь выдалась звездная, тихая. Ни единой души не попало навстречу, пока они пробирались к дуровскому дому. Лишь колотушка будочника глухо трещала где-то в отдалении.

- Не губернский будто город, а деревня.

- Молчи, а то налетят подлеты воронежские и ограбят солиста императорских театров, - смешливо пообещал Дуров.

За ужином царило безудержное веселье. Хозяин дома был в ударе. С непревзойденным искусством Дуров разыгрывал комические сценки, изображая то околоточного, берущего взятку, то воронежского полицмейстера, отличавшегося великой любовью к спиртному и зуботычинам, то, наконец, Шаляпина в концерте и Заикина на арене. Все принимали участие в этой игре. Взрывы смеха то и дело сотрясали гостиную.

После ужина "слабосильная команда" во главе с Еленой Павловной была отправлена спать, а Шаляпин, Заикин, Дуров и сын его Анатолий Анатольевич перешли в кабинет хозяина. Начались воспоминания.

- А помнишь, как мы с тобой выступали на благотворительном вечере в Петербурге? - обратился Шаляпин к Заикину.

- Кто это вас впряг в одну телегу - коня и трепетную лань? - полюбопытствовал Дуров. - Мы-то с Иваном все время одну

запряжку тащили, а ты как туда попал?

- Разве ты не знаешь, что такое благотворительные концерты? - отмахнулся Шаляпин. - Кого затащат за полы, тот и выступает. Я там перед Иваном пел. Кончил, выхожу, а он аж позеленел от испуга. Бормочет: ну, таперича я провалюсь на чистой-то публике. А чистая публика отпускать его не хотела. Было?

- Было, - подтвердил Заикин. - Я тогда грешным делом думал, что им, интеллигентам, только разные искусства да музыку подавай. Вот и боялся.

- Ты, брат, весь музыка, - убежденно сказал Шаляпин. - Вон как у тебя мускулы играют. Человечище ты красоты необыкновенной. Идешь, все глаза на тебя пялят, шушукуются: "вот Заикин, богатырь", а мимо меня скользнут равнодушно, будто я тень твоя.

- Вот видишь, папа, как популярен цирковой артист, - неожиданно подал голос молчавший до тех пор Дуров-младший. - А ты препятствуешь мне идти в цирк. Федор Иванович, Иван Михайлович, ну подействуйте хоть вы на него, - взмолился он.

- И чего ты в самом деле упорствуешь? - напустился на старшего Шаляпин. - Сам, небось, из столбовых-то дворян в циркисты сбежал.

- Позвольте: а на то ли я

Лелеял Анатолия,

Чтоб вышел он шутом,

Да и плохим притом?

- экспромтом продекламировал Дуров.

- Здорово! - восхитился Шаляпин. - Но сына ты пусти, ежели он к цирку тянется. Цирк - великое искусство, равное всем другим, и ты сам это великолепно доказал.

- Оставь меня в по-ко-е, - шутливо пропел Дуров.

- Ну вот, как серьезный разговор, так он хвостом вильнет и в сторону, - огорчился Шаляпин. - Ну-ка, Ваня, дай ему пару макарон.

Заикин сделал вид, что готов броситься на Дурова. Но тот присел в полупоклоне и провозгласил:

- Пора ко сну, о гости дорогие...

Утром небольшое происшествие омрачило их мирную беседу за завтраком. В столовую влетел младший Дуров и взволнованно крикнул:

- Папа, пеликан подыхает!

Дуров побледнел, сорвался с места и выбежал из комнаты. Шаляпин и Заикин переглянулись и, не сговариваясь, пошли за ним. Дуров стоял над огромной грязно-белой птицей и всхлипывал, закрыв лицо руками.

- Ну полно, Толя, убиваться, - обнял его Шаляпин. - Эвон сколько у тебя всякой дрессированной живности.

- Какой артист был, какая редкая птица! - поднял он лицо, мокрое от слез. - Как я его подавал...

И голосом, еще не окрепшим, дрожащим, продекламировал:

*Чиновный люд, кичась высоким саном,
Имеет много сходства с этим пеликаном.*

*Пред низшими, слабейшими вы важны,
Так величавы, горды и отважны...*

Пред сильными ж вы низки и покорны,

Послушны, мелки, суетны, проворны,

И на лице у вас невинности печать,

И ко двору себя даете приучать.

- А пеликаша при этом покачивал головой, точно говоря: да, так, так. Я потерял большого друга, и не утешайте меня.

Пеликану устроили торжественное погребение. Сколотили подобие гробика, уложили туда атласную подушечку. Анатолий-младший открыл шествие. За ним чинно шагали остальные.

- К месту вечного упокоения раба божия пеликана, - пошутил Шаляпин. И затем нарочито гугниво, на дьяконский манер, затянул:
- Да бу-удет пе-ли-и-кану зе-е-мля пу-у-хом. Аминь!

Дуров не выдержал - улыбнулся.

Днем, проводив Шалапина, они отправились на ипподром.

- Полечу на небеса за безгрешным пеликашей, - вздохнул Дуров. - Возьмешь?

- А не побоишься? - в свою очередь спросил его Заикин.

- С горя да с радости я на любой отчаянный шаг решусь.

На ипподроме было полно любопытных. Безбилетная публика окружала его плотным кольцом. У входа они столкнулись с полицейским приставом. Тот уважительно поклонился Дурову и спросил:

- Вы тоже летите, Анатолий Леонидыч?

- А как же: хочу плюнуть на полицию с высоты птичьего полета.

- Ох, и несдержанны вы на слова, - сокрушенно вздохнул пристав.

- Слово - мое оружие. Я тебя могу словом убить, а он, - и Дуров кивнул в сторону Заикина, - кулаком.

Пристав махнул рукой и обратился к Заикину:

- А когда вы летите?

Заикин стал объяснять, что сначала сделает пробный полет, но пристав замахал руками:

- Ни боже мой. Насчет пробных никакого распоряжения не было. Не могу допустить.

- Так какая же разница? - закипая в душе, спросил Заикин.

- Разницы нет, а не велено - и все.

- От великого до пристава один шаг, - усмехнулся Дуров.

- А от Дурова до дурака?! - взъярился тот, задыхаясь от гнева.

- Тоже один шаг, - невозмутимо ответил Дуров и шагнул к оторопевшему приставу. Кругом захохотали.

- Ло-овко ты его отбрил, - трясаясь от смеха, выговорил Заикин.

Все было готово для полетов. Заикин легко поднял аппарат в воздух, сделал несколько кругов и приземлился. На пассажирское место взобрался Дуров. Снова короткая пробежка, и они в воздухе. Под ними море крыш Воронежа, голубая лента реки. Дуров что-то кричит ему, но ветер относит слова.

- Страшновато, но хорошо, - резюмировал Дуров, когда они

приземлились.

- А теперь- меня, - неожиданно приступила к нему жена Дурова.

- Помилуй, Елена Павловна, что ты, - оторопел Заикин. - Еще ни одна женщина, кроме француженки, не летала.

- Именно поэтому я хочу полететь. Хочу быть первой, - твердо настаивала Дурова.

- Лети, Еленочка, я благословляю, - решительно сказал Дуров.

- Тогда надо одеться потеплее, - сдался Заикин. Втайне он побаивался, что она может упасть в обморок или еще что-нибудь в этом роде, но, вспомнив, что Елена Дурова - женщина решительная, властная и смелая, понемногу успокоился. Ее кое - как укутали, обложив вдобавок газетами. Заикин наставлял ее, как себя вести.

И вот он снова в воздухе с Еленой Дуровой - первой русской женщиной на аэроплане. Этот полет закончился успешно.

Восторг публики достиг апогея. Люди бесновались, кричали, кидали вверх шапки. Заикин, Дуров и Елена Павловна были приглашены в губернаторскую ложу. Отважных авиаторов буквально завалили цветами.

- Великолепно, великолепно! - восклицал губернатор. - Вы настоящий повелитель воздуха, господин Заикин.

- Вот только на земле из-за вас происходят несчастья, - желчно вставил полицмейстер. - Душ пятнадцать в давке придавило.

- Порядок на земле устанавливает полиция, - съязвил Заикин.

- Ну, а какие ваши впечатления, Анатолий Леонидыч? - торопливо спросил губернатор, стараясь сгладить неприятное впечатление, произведенное репликой полицмейстера.

- Когда летел вверх, - невозмутимо отвечал Дуров, - то ясно чувствовал, что уношусь от земных благ к небесам. А посмотрел вниз - и пришел в восторг от того, что и полиция и губернатор казались едва заметной мелочью.

Ясные глаза Дурова смотрели невозмутимо. Губернатор закусил губу и отвернулся. Аудиенция была расстроена.

Роковой полёт

Москву, куда приехал Заикин и его спутники, трудно было удивить видом аэроплана. Первым из русских авиаторов здесь летал Сергей Уточкин. Незадолго до приезда Заикина демонстрировал полеты Михаил Ефимов. Профессор Николай Егорович Жуковский - отец русской авиации - был духовным отцом Московского общества воздухоплавания. Общество вступило во владение Ходынским полем.

Шла осень 1910 года. Вернулся из Франции Борис Илиодорович Россинский, позднее прозванный "дедушкой русской авиации". Он поставил на Ходынском поле ангар и распаковал аппарат - "блерио-ХІ" - со специального соизволения городской думы. Это был первый "свой" аэроплан москвичей.

Жуковский читал курс теории воздухоплавания в Московском высшем техническом училище. Москва становилась центром русской авиационной мысли. Габер-Влынский, товарищ Заикина по "Этамбу", стал первым инструктором Ходынского аэродрома. Под его руководством члены Общества воздухоплавания обучались искусству пилотажа.

Но это было позже. А пока Заикин парил в небе Москвы, разорванном медными крестами "сорока сороков". "Иван великий", как нередко называли его друзья, поднялся над колокольней Ивана Великого. Он выполнил условие москвичей - достиг высоты одного километра.

Под крылом лежала необычно тихая, словно вымершая Москва. Голубой извилистой лентой резала ее Москва-река. Ослепительно сияли в лучах солнца огромные купола храма Христа-спасителя. Громада Сухаревской башни вонзалась в небо ржавым клинком.

Неожиданно заглох мотор. Заикин похолодел. Но легкий "фарман" птицей парил в московском небе.

К Заикину тотчас вернулось самообладание. Он развернул аэроплан и повел его к аэродрому. Самолет нехотя терял высоту.

Ходынка приближалась. В Москве его застигла весть о гибели Льва Макаровича Мациевича. Это была первая жертва среди российских авиаторов.

В сентябре в Петербурге, на Комендантском аэродроме, проводился Всероссийский праздник воздухоплавания. Одиннадцать русских летчиков демонстрировали свое искусство.

Лев Макарович летел на "фармане". И вдруг аппарат стал разваливаться на глазах у зрителей. Передняя часть странно наклонилась, и Мациевич камнем полетел вниз...

Заикин, не стесняясь, плакал. Мациевич был ему ближе других. "Ровно брат родной, был он мне", - всхлипывая, бормотал он.

Москва как-то сразу стала ему тошной. Вдобавок заладили дожди. Ходынка сделалась непроходимой не только для конного, но и для пешего. О полетах нечего было и думать.

Заикин приказал разбирать аппарат. "Едем в Одессу", - бросил он. Черноморская столица все еще не успела охладеть к авиации. Ефимов и Уточкин - одесситы - были ее кумирами, Заикина тоже почему-то считали одесситом и оказывали ему соответственные почести.

В любом городе России Заикин не испытывал недостатка в друзьях и почитателях. В Одессе их было, пожалуй, больше всего. На него накинудись сразу, как только он приехал. Все были в курсе его полетов - следили по газетам. Жадно ловили подробности, засыпали вопросами.

- Я охнул, смотря в синематографе ленту "Полет и падение Ивана Заикина в Харькове", - признался Куприн. - Экий ты ангел бессмертный! Неуж-то не мог отказаться от полета?

- Амбиция заела. И полицмейстер пристал, как банный лист.

- Со смертью кокетничаешь, дурья башка. Добром сие не кончится.

- Я заговоренный, - усмехнулся Заикин. - Опять же твою божка, будду этого, все время с собой вожу - не расстаюсь. Бережет. Раз десять оземь грохался - цел остался.

- А мне, брат, что-то перестало везти с тех пор, как я подарил тебе

этого божка. Как будто чего-то не хватает, - со вздохом признался Куприн. - Черт-те что, суеверным становлюсь.

- У нас одним губернаторам да купцам везет. А рабочему человеку на везение надежда плохая, - философски произнес Заикин, рассмешив Куприна. - Вот мне, думаешь, везет? Кости ломал, аппарат - чего уж хуже - ломал, напрочь кожу обдирал, к Пташниковым в кабалу попал... А все говорят: везучий человек, бог его бережет. А мне этот самый бог без счету пинков да зуботычин навешал. Да и весь наш род заикинский такой. Матушка сказывала: двадцать один ребенок у нее был. За два дня на Тихорецкой семерых похоронила - холерный год случился, в бараках жили. Да и остальных не уберегла, один я в живых остался. Сын мой от первой жены тоже помер.

- Ну вот, а ты говоришь - не везет. Да тебя сама судьба хранит, чтоб не вывелся заикинский корень.

- Это, пожалуй, верно. Последний я корешок могучего нашего древа.

- И какой! - подхватил Куприн. - Отборный. Железный. Поискать - не найдешь. Жаль только, что темен ты остался, выучиться грамоте не хочешь.

- А летать тогда кому? А бороться? А с железом работать? Каждому овощу свое время и свое место, Лексан Иваныч, вот что я тебе скажу. И не допекай ты меня.

Куприн с сожалением вздохнул. Нет, не проймешь этого мужика. У него своя точка: ногами в землю врос, уперся, и не сдвинуть, хоть изведись, хоть тресни. Приступал к нему не единожды, и все слова, уговоры отскакивали, не оставляя следа.

- Пойдем-ка лучше твою Елизавету Морицовну навестим, - неожиданно предложил Заикин. - Да и дочку Ксенюшку погляжу. Занятна, небось?

- Занятна. А и в самом деле пойдем. Лиза беспокоится, надо полагать: я уж давно из дому.

Вечером Одесса - газетная, писательская, спортивная, богемная - в ресторане "Северный" чествовала летуна-богатыря. Писатели

Куприн и Юшкевич, художник Кузнецов, куплетисты Убейко, Морфесси и Смирнов-Сокольский, авиаторы Уточкин и Хиони, газетчики большие и маленькие и прочий люд восседали за сдвинутыми столиками.

Заикина раздирала на части.

- Ну как ты на аэроплане?

- Известно как: сижу на жерди как ведьма на помеле, а под ногами пропасть...

- Иван Михайлович, - придвинулся к нему Николаи Дмитриевич Кузнецов. - Я должен закончить ваш портрет. Вы обещали мне позировать, когда приедете...

- Господин летун, - дергал его за рукав куплетист Юлий Убейко. - Послушайте же куплеты, вам посвященные...

- Ванья, не слюшай, - тянул его к себе клоун Чиардо Жакомино, друг Александра Ивановича, талантливый циркач. Смешно заламывая руки, он умолял: - У тебя тольстый шкура, но и она продырявит авиация. Возвращайся лючче цирк...

- Пьем за здравие борца-авиатора! - раздался пьяный выкрик из ложи. - Иван Михайлыч, пожалте к нам!

Заикин поднял глаза. В ложе бражничала компания офицеров. Они нетвердо поднялись с бокалами в руках и глядели в его сторону.

- Я не шансонетка. По столам не хожу, - сухо ответил Заикин.

Видно, офицеры не расслышали, потому что минут через пять к нему спустился с двумя бокалами дородный щекастый полковник. Глаза-щелочки излучали умиление, мокрые усы свисали вниз, как у запорожца.

- П-зз-ольте, дражайший богатырь, выпить ваше здоровье.

Заикин нехотя поднялся и принял протянутый бокал. Полковник был ему неприятен, но долг вежливости повелевал быть любезным.

- А это что за господин? Будто мне знакомый? - бесцеремонно ткнул он пальцем в Куприна, сидевшего рядом с Заикиным. - Позвольте представить: мой друг, писатель Куприн...

Полковник трезвел на глазах. Усы его негодующе приподнялись.

- Куприн? Автор "Поединка"? С этим господином, оболгавшим российское офицерство, я могу только драться на дуэли, а не пожимать ему руку. Да-с!

Рыхлая фигура его описала полукруг, плечи демонстративно развернулись, и полковник нетвердо зашагал на свое место, все еще шипя, как рассерженный гусь.

Заикин вскочил. За ним поднялись остальные, возмущенно галдя. Но Куприн жестом остановил их и сказал - спокойно, с легкой иронией:

- Видишь: книги писать, что летать - одинаково опасно. Лучше все ж рухнуть вниз с высоты, чем получить пулю от такого хлыща или ему подобных.

Вечер был испорчен. Беседа не клеилась, стала тягучей и вымученной. Посидев немного, они разошлись. Заикин отправился к себе, размышляя о случившемся. Прежде он думал, что ранят только газетные фельетоны. Теперь, выходило, что писательское сочинение, плод фантазии, вымысел, словом, вещь как будто бы совсем неправдоподобная и ни к кому конкретно не обращенная, есть тоже оружие. И оружие с точным прицелом, бьющее без промаха и, может быть, большее, нежели газетная статейка. Все это с трудом укладывалось у него в сознании.

Эти мысли тотчас отступили в сторону, когда он вспомнил, что завтра полеты. Ощущение опасности, никогда не покидавшее его - человека редкого мужества - с того дня, когда он впервые уселся позади Анри Фармана, оттеснило все другое.

На трибунах было жидко: сообразительные одесситы заняли все подступы к полю - и без расходов, и как-то безопаснее.

Заикин хмуро расхаживал подле своего аэроплана. Пришлось тепло одеться: одесский ноябрь был едва ли мягче московского.

- Все в порядке, мсье Заикин, - доложил ему Жорж, как всегда серьезный в таких случаях, в отличие от Жана, не терявшего жизнерадостности даже в самые трудные минуты.

Все было действительно в порядке: погода, аппарат, настроение на трибунах. От охотников полетать с ним не было отбою. Еще

вчера Куприн и Убейко взяли с него слово, что он берет их пассажирами. Прежде он обещал это молодому Навроцкому, за которого, вдобавок, ходатайствовал его отец, редактор "Одесского листка".

И вот место Навроцкого позади Заикина занимает Александр Иванович Куприн... "Очень жаль, что меня о моем полете расспрашивало несколько сот человек, и мне скучно повторять это снова, - рассказывал впоследствии Куприн в очерке "Мой полет" на страницах "Синего журнала". - Конечно, в крушении аэроплана г.г. Пташниковых и в том, что мой бедный друг Заикин должен был опять возвратиться к борьбе, - виноват только я.

Год тому назад, во время полетов Катанео, Уточкина и других, Заикин зажегся мыслью, чтобы летать. В это время мы вместе с ним были на аэродроме. Со свойственной этим упрямым волжанам внезапной решительностью он сказал:

- Я тоже буду летать! Дернул меня черт сказать...

- Иван Михайлов, беру с вас слово, что первый, кого вы поднимете в воздух из пассажиров, - буду я!

И вот... в очень ненастную одесскую переменчивую погоду, Заикин делает два великолепных круга, потом еще три с половиной, достигая высоты около пятисот метров. Затем он берет с собой пассажиром молодого Навроцкого, сына издателя "Одесского листка", и делает с ним законченный круг, опускаясь в том же месте, где он начал полет. Несмотря на то, что на аэродроме почти что не было публики платной, однако из-за заборов все-таки глазело несколько десятков тысяч народа. Заикину устроили необыкновенно бурную и несомненно дружественную овацию.

Как раз он проходил мимо трибун и раскланивался с публикой, улыбаясь и благодаря ее приветственными, несколько цирковыми жестами. В это время, бог знает почему, я поднял руку кверху и помахал кистью руки...

Было очень холодно, и дул норд-вест. Для облегчения веса мне пришлось снять пальто и заменить его газетной бумагой, вроде манишки. Молодой Навроцкий, только что отлетавший, любезно

предложил мне свою меховую шапку с наушниками. Кто-то пришилил мне английскими булавками газетную манишку к жилету, кто-то завязал мне под подбородком наушники шапки, и мы пошли к аэроплану.

Садиться было довольно трудно. Нужно было не зацепить ногами за проволоки и не наступить на какие-то деревяшки. Механик указал мне маленький железный упор, в который я должен был упираться левой ногой. Правая нога моя должна была быть свободной. Таким образом, Заикин, сидевший впереди и немного ниже меня на таком же детском креслице, как и я, был обнят мною ногами... Затем ощущение быстрого движения по земле- и страх!

Я чувствую, как аппарат, точно живой, поднимается на несколько метров над землей, и опять падает на землю и катится по ней и опять поднимается. Эти секунды были самые неприятные в моем случайном путешествии по воздуху. Наконец, Заикин, точно насилуя свою машину, заставляет ее подняться сразу вверх.

Встречный воздух поднимает нас, точно систему игрушечного змея. Мне кажется, что не мы двигаемся, а под нами бегут назад трибуны, каменные стены, зеленеющие поля, деревья, фабричные трубы.

Гляжу вниз - все кажется таким смешным и маленьким, точно в сказке. Страх уже пропал. Сознательно говорю, что помню, как мы повернули налево и еще и еще налево. Но тут-то вот и случилась наша трагическая катастрофа. Встречный ветер был раньше нам другом и помощником, но когда мы повернулись к нему спиной, то сказались наши, то есть мои и пилота, тринадцать пудов веса плюс пропеллер, плюс мотор "гном" в пятьдесят сил, плюс ветер, гнавший нас в спину.

Сначала я видел Заикина немножко ниже своей головы. Вдруг я увидел его голову почти у своих колен. Ни у меня, ни у него (как я потом узнал) не было ни на одну секунду ощущения страха - страх был раньше. С каким-то странным равнодушным любопытством я видел, что нас несет на еврейское кладбище, где было на тесном пространстве тысяч до трех народа.

Только впоследствии я узнал, что Заикин в эту критическую секунду сохранил полное хладнокровие. Он успел рассчитать, что лучше пожертвовать аэропланом и двумя людьми, чем произвести панику и, может быть, стать виновником гибели нескольких человеческих жизней. Он очень круто повернул влево... И затем я услышал только треск и увидел, как мой пилот упал на землю.

Я очень крепко держался за вертикальные деревянные столбы, но и меня быстро вышибло из сиденья, и я лег рядом с Заикиным.

Я скорее его поднялся на ноги и спросил:

- Что ты, старик, жив?

Вероятно, он был без сознания секунды три-четыре, потому что не сразу ответил на мой вопрос, но первые его слова были:

- Мотор цел?..

Сидя потом в буфете за чаем, Заикин плакал. Я старался его утешить, как мог, потому что все-таки я был виноват в этом несчастии. В тот же вечер решилась его судьба. Братья Пташниковы - миллионеры, хотевшие эксплуатировать удивительную дерзость этого безграмотного, но отважного, умного и горячего человека, перевели исковерканный "фарман" в гараж и запечатали его казенными печатями, и Заикин не мог войти в этот сарай хотя бы для того, чтобы поглядеть хоть издали на свое детище..."

Было какое-то знамение в том, что последний, роковой, полет Заикин совершил вместе с Куприным.

- Это божок нас упас, - без улыбки сказал Куприн. - Шутка ли, сверзиться с такой высоты и остаться целым. Хорошо, что я летел именно с тобой, а не с кем-нибудь другим. С другим я бы непременно убится. И мир потерял бы не только Льва Николаевича Толстого, но и Александра Ивановича Куприна в один день.

- А что с Толстым? - вскинул брови Заикин.

- Умер Лев Николаевич, - сказал Куприн, и глаза его увлажнились. - Солнце нашей литературы закатилось. Ты не знаешь, сколь удивителен и всемогущ был этот сухонький подвижный ведун. Я счастливый - видел его...

Куприн опустил голову и задумался. Он ясно представил себе весенний день, синие очертания гор, зеленоватое, какое-то умиротворенное море, плещущее у ног Ялты, белый пароход в гавани. И этот мир красок стал звонче, радостнее, человечнее оттого, что явился Толстой - его пророк, его Пимен, его судия и утешитель. Простой люд расступался перед этим сухоньким старцем, как перед истинным царем...

Куприн тряхнул головой, отгоняя воспоминания.

- В газетах нынче две сенсации - смерть Толстого и падение Заикина с Куприным, - повторил он. - Отселе я делаю вывод: Куприн больше не полетит и удержит Заикина на грешной сей земле. Хватит рисковать жизнью и летать на деревянной коробушке. У нас в России есть смельчаки, которые этому посвятили себя. А у тебя, друг мой, иное предназначение. Ты, можно сказать, эталон русской породы и пребывай "в этом качестве. Заикин-борец нужнее народу, чем Заикин-авиатор. А Пташниковым воздается сторицей за их подлость. Вон газеты от них камня на камне не оставили, ославили их. Увидишь, придут еще к тебе на поклон и деньги будут предлагать. Куприн словно в воду глядел. Дядя Пташниковых явился бить челом: "потому как позор и разорение", сулил деньги, вернул заикинские закладную и расписки, кляня племянников и Травина, который втянул их в эту историю. "Отпиши газетам, что между нами - мир", - умолял он.

Иван Заикин вернулся в цирк. Но не оскудело богатырское племя крылатых. Поднялись в воздух самолеты русской конструкции и постройки. Незадолго перед последним полетом Заикина в Одессе состоялся первый южный съезд деятелей воздухоплавательного дела, организованный Одесским аэроклубом. К концу 1910 года клуб насчитывал уже 140 членов, и спустя некоторое время здесь открылась школа летчиков, начались регулярные полеты и перелеты на дальность. Спустя всего лишь год из клубной мастерской вышло около двадцати аэропланов.

Сергей Уточкин, друг Заикина, русский летчик номер два, еще долго восхищал современников своими смелыми полетами.

Судьба его сложилась, впрочем, трагично. В июле 1911 года он принимал участие в перелете Петербург-Москва. До Новгорода он шел первым. Затем из-за неполадок в моторе его "блерио" был вынужден совершить посадку. Отремонтировав мотор и самолет, Уточкин полетел дальше. Но несчастье не отпускало его: снова вынужденная посадка, закончившаяся переломами ноги, ключицы и тяжелыми ушибами.

Это была не только физическая, но и психическая травма. Уточкин заболел тяжелым нервным расстройством и был на грани помешательства. С легким сердцем его засадили в психиатрическую больницу. Там в 1916 году он и окончил свои дни, забытый вчерашними друзьями и почитателями.

А русская авиация продолжала стремительно набирать высоту.

Геркулес Фарнезский



На Невском, у Летнего сада, на Литейном, всюду, где расклеены афиши, оповещающие о всемирном чемпионате французской борьбы, толпились любители спорта и просто любопытные, привлеченные кричащими заголовками и длинным списком борцов, съехавшихся в туманный Петербург из городов России и стран Европы. Список открывали имена чемпионов мира Ивана Заикина, Николая Вахтурова, венгра Янош-Чая, француза Мориса Дернаца...

Это было в январские дни 1913 года. После долгого перерыва Иван Михайлович вновь вернулся на борцовскую арену. Организаторы чемпионата неспроста открыли его именем список претендентов на звание чемпионов мира 1913 года. Популярность Заикина была очень велика. С нею соперничала лишь слава Ивана Поддубного. Вот почему участие Заикина в чемпионате гарантировало его устроителям полные сборы.

Пять недель кипели жаркие схватки на ковре в цирке "Модерн". Заикин выступал ежедневно. Нужна была колоссальная физическая сила в сочетании с огромной силой воли, выдержкой, стремлением к победе. Всем этим замечательного атлета с избытком одарила природа.

Тридцать восемь встреч провел он в цирке "Модерн" и тридцать семь выиграл. Лишь одна закончилась ничейным результатом - схватка с Николаем Вахтуровым. Борец великолепного сложения, отработанной техники, редкого упорства, он был достойным соперником. Своим знаменитым передним поясом Вахтуров ломал даже тех, кто был физически равен ему.

Не впервые встречались на ковре Заикин и Вахтуров. Но эта

схватка - 15 февраля 1913 года - была на редкость упорной.

Несколько раз по сигналу арбитра сходились на середине ковра Заикин и Вахтуров. Заикин колоссальным усилием пытался перевести Вахтурова в партер, но то, что удалось бы с менее сильным и опытным борцом, не выходило с таким могучим противником. Вахтуров неуловимо и молниеносно отражал всякие попытки Заикина "взять его на прием".

Это было великолепное зрелище. И даже те, кто случайно попал в цирк, кто не был искушен в деталях французской борьбы, были захвачены этим редким зрелищем единоборства двух богатырей.

Семьдесят пять минут длилась схватка. Судьи, посовещавшись, провозгласили, ничью.

Да, Заикин был в прекрасной форме. Рецензент одной из петербургских газет характеризовал его с тогдашней цветистостью:

"Вкрадчивой кошачьей поступью выходит на поклон Заикин. Мускулатура Геркулеса Фарнезского! Горько ошибается тот, кто, глядя на его застенчивое лицо, подумает, что его борьба так же мягка, как и его улыбка. Это - один из умнейших борцов мира, беспощадный в борьбе и пользующийся своей колоссальной силой в такие моменты, когда противник всего менее ожидает его нападения".

Известный в то время художник Николай Кравченко, в котором, по свидетельству современников, "погиб несравненный гиревик", дал свою, художническую, характеристику Заикину и Вахтурову:

"Варвары, разгромившие Римскую империю, - готы и вандалы - люди гармоничной мускулатуры, не искусственно выработанной, а данной матерью Природой. Мускулатуры хищного зверя - упругой, эластичной, стальной. Это Заикин. Ваал-молах финикиян громадное тело, давящее своей массой. Массой нерельефной мускулатуры, но твердой, как бронза, из которой отливались его статуи. Это Вахтуров. Таким был буйный Василий Буслаев".

Заикин выиграл первый приз и звание чемпиона мира.

В этот год в России снова буйно разгорелось всеобщее увлечение борьбой. Заикин не перестает получать приглашения из разных

городов страны. Чемпион мира придирчив. Он тщательно взвешивает, есть ли среди участников чемпионата соперники, достойные его по силе и мастерству. Он старается избегать "комедиантов" - тех антрепренеров, которые увлекательное спортивное зрелище превращали в театрализованные представления, а подчас и в откровенный балаган.

Ярославль, Ташкент, Екатеринослав, Киев - таков далеко не полный список городов, принимавших Заикина. И ни одной проигранной схватки. С 1916 года начинается длительное зарубежное турне русского борца. Он выступает в Париже и других городах Франции, объезжает Югославию, Болгарию, Чехословакию. Заикину аплодирует римская публика... Его восторженно принимают в Сицилии и Сардинии, а затем на северном берегу африканского континента - в Триполи.

Заикин возвращается в Париж через Испанию и Югославию, и весь этот долгий путь отмечен вереницей блистательных побед русского борца. Сотни схваток провел Заикин, не изведав горечи поражения, ни разу не коснувшись лопатками ковра.

За океаном

...Утром прошел дождь, но облака все еще низко висели над городом, над мутными свинцовыми водами Сены. Голые деревья моляще протягивали к небу костлявые суставы-сучья, будто прося о тепле, о солнце.



Тоска поедом ела Заикина. Она с особой силой навалилась на него сегодня. Он заперся в номере, никого не желая видеть. Рассыльный подсунул под дверь стопку газет. Здесь были "Энтрансижан", "Эко де Пари", "Возрождение"... Заикин проглядывал заголовки. "Репрессии в красной России", "Большевики просят иностранных займов", "Советская Россия становится на колени". Он раздраженно скомкал и швырнул газеты в угол.

- Враки! - убежденно произнес он вслух. - Россию не поставишь на колени. Иван Михайлович жадно ловил вести, приходившие с родины. Он все больше и больше тосковал по родной земле, по раздольным волжским просторам, по родным местам, воспоминания о которых всегда согревали его могучее, но уже начавшее неприметно стареть сердце.

Здесь, вдали от родины, он оставался русским до мозга костей. И когда румынский король Фердинанд, смотревший из своей ложи выступление "короля железа" на арене Бухарестского цирка и пришедший в восторг от сказочной силы русского богатыря, соизволил посулить ему всевозможные блага за переход в румынское подданство, Заикин потрянул головой и независимо ответил:

- Передайте его величеству, что я русский человек, русским и останусь до самой смерти.

А жизнь не баловала ни его, ни друзей. Александр Иванович

Куприн сетовал в письме к Заикину: "Наша жизнь теперь скучна, бедна и одинока... Скучно. Все знакомые нас забыли (да теперь и дорого быть знакомыми). Одно развлечение, когда за неплатеж закроют у нас газ, электричество или теплую воду, или когда приходят выжимать налоги и подати бравые французские судебные пристава. В этих случаях сердце бьется как-то живее, и поневоле танцуешь, как карась на сковородке".

...Раздался стук, сначала деликатный, потом настойчивый. Заикин нехотя поднялся, открыл. В дверь просунулся невысокий, круглый, крикливо одетый человек, развязно сунул руку Заикину.

- Кэрли, - представился он. - Менеджер, организатор турне сильнейших чемпионов борьбы и бокса в Штатах, - пропел он, отставив толстую, обтянутую гетрами ногу.

Заикин, стоя, поглядел на него сверху вниз и хмуро пробурчал:

- Ну, и что вам угодно, господин хороший?

- Я желаю подписать с вами контракт, мистер Заикин. Три года в Америке - и вы покупаете себе виллу во Флориде, яхту, обзаводитесь хорошенькой женой... - Кэрли хихикнул, обнажив желтые зубы.

- Не знаю, досель мне не доводилось встречаться с вашими американцами, - не меняя тона, произнес Заикин.

- О! Слава наших борцов гремит по всему Старому и Новому свету... Впрочем, как и ваша слава, мистер Заикин, - поспешил добавить Кэрли. - Я предлагаю вам блестящие условия, горы долларов. Американцы - неистовые любители спорта. Они вас ценят, мистер Заикин.

Кэрли засуетился, раскрыл свой саквояж и вытащил из него пачку бумаг.

- Вот контракт...

- Оставьте, господин, как вас там...

- Кэрли... - ...господин Кэрли, я подумую.

- Э-э, мистер Заикин, это не по-джентльменски, - обиделся Кэрли.

- Если у меня есть конкурент, то я прошу открыть карты.

- Я крапленными картами не играю, мил человек, - хмуро произнес

Заикин и сделал шаг к двери, давая понять, что разговор окончен.

- Приходите завтра в это же время.

Назавтра контракт был подписан. Развязный Кэрли, поминутно обнажая в улыбке желтые зубы и фамильярно величая Заикина "май дир Эйван", уверял, что за океаном Заикина ждет такое "паблисити", что можно смело продавать билеты по двойной цене.

- Мы озолотим вас, дир Эйван. Ну, а я сделаю свой бизнес. Только одно условие: теперь я беру команду в свои руки.

Заикин смолчал, а может, просто недослышал или не обратил внимания на последние слова развязного американца.

В Нью-Йорке Заикина ожидало действительно диковинное "паблисити". Цветные афиши с его портретами буквально облепили оживленные улицы. "Русский тигр", "величайший чемпион мира", "сенсация Европы", "непобедимый гигант" и даже... "чемпион красного Петербурга" - все это кричало, звало, убеждало огромными буквами на разные лады.

- Вам надо познакомиться с нашим американским кэтчем, мистер Эйван, - напомнил ему Кэрли, входя в номер. - Сейчас представилась возможность его посмотреть. Машина ждет внизу.

...Вот он, знаменитый американский кэтч-вольная борьба, о которой так много трубили в Штатах. Более омерзительного зрелища Заикину не приходилось видеть. Морщась, как от зубной боли, Заикин смотрел на арену, где борцы рвали друг друга за уши, били головой в живот, катались по ковру, рыча и кусая друг друга. Кэтч разрешал все. Американцы считали классическую борьбу слишком пресной.

- Ну, хватит с меня, - неожиданно поднялся Заикин.

- Пойдите, мистер Эйван, куда же вы? До развязки еще далеко, - опешил Кэрли.

- У нас на Волге так даже жуликов не бьют. - Но вам же нужно усвоить принципы нашей борьбы, - семеня за ним Кэрли.

- Какие уж тут принципы? - усмехнулся Заикин. - У кого кожа толще да зубы острее - тот и чемпион.

...24 февраля 1925 года. Нью-Йорк. У огромного здания манежа

семьдесят первого полка стоят длиннейшие очереди, тянущиеся почти на весь квартал. Безудержная реклама, не жалевшая эпитетов для Заикина, сделала свое дело. Первые два часа ушли на разжигание страстей у публики. Одна за другой чередуются пары на ковре. Выворачивание рук и ног, стоны и рычание, пятна крови - все это до предела накалило атмосферу.

В момент наибольшего напряжения на помост вышли арбитр и улыбающийся Кэрли.

- Эйван Заикин! Тигр, гигант, медведь! - воскликнул арбитр и театрально протянул руку в сторону кулис.

Иван Михайлович медленно поднялся на огороженное канатом возвышение. Огромное здание манежа сотрясают приветственные выкрики.

Заикин добродушно кивает во все стороны, улыбается друзьям. Их много - сюда пришли все русские нью-йоркцы.

Накинув на плечи свой старенький коричневый халат, Заикин усаживается в углу арены. Сегодня его противником будет Эвко, чемпион Америки, "стальной Эвко", как зовут его в Штатах, победитель Владислава Збышко-Цыганевича. Грузный, коренастый, с огромным животом, бычьим затылком и хорошо развитой мускулатурой, Эвко неуклюже взбирается на возвышение. Пронзительный свист режет уши. Так приветствуют зрители своего любимца.

Гонг. Заикин сбрасывает халат, обнажая могучие мускулы. Это зрелище снова высекает искру восторга.

- Браво, Заикин! - гремит под сводами манежа.

Эвко первым начинает нападение. Он пытается ошеломить Заикина своей напористостью, но тот сразу же бросает его через плечо. Доски помоста жалобно скрипят.

Эвко вышел на мост. Побагровев от натуги, русский борец пробует дожать его. Тщетно. Гора мяса и мускулов не поддается. Заикин трясет головой. С губ его срывается: "Врешь, не уйдешь!"

Кажется, силы борцов равны. Ни тому, ни другому не удастся одолеть противника. Улучив мгновение, Эвко сам заставляет

Заикина "сместить". Яростно сопя, американский чемпион пытается дожать Заикина. Он хватает его за ногу, стараясь выкрутить ее. Но неожиданно Иван Михайлович неприметным движением высвобождается из цепких объятий грузного Эвко.

Резкий сильный толчок ногами - и американец отлетает в другой конец арены. Борцы тяжело дышат. Но наступательный порыв не угас. Эвко снова атакует. Он ставит подножку, обхватывает руками ноги Заикина, пытается опрокинуть его. Весь этот стремительный каскад приемов разбивается о заикинскую ловкость. Десять часов восемнадцать минут. Эвко снова атакует. Заикин у самого края возвышения. Это маневр. Он резко приседает, хватает Эвко, и тот, пытаясь вывернуться, грузно ухает вниз, прямо на головы репортеров.

Десять часов двадцать минут. Заикин хватает Эвко и поднимает его, как младенца, пытаясь швырнуть на помост. Публика ревет от восторга.

- О, этот русский - настоящий титан! Десять часов двадцать две минуты. Молниеносным броском с переднего пояса Заикин решает исход поединка. Он валит Эвко на помост и мгновенно прижимает лопатками к коврику.

Победа! Худощавый арбитр с трудом оттаскивает увлекшегося Заикина.

- Вы победили! - кричит он ему в самое ухо. Толпа новых поклонников русского богатыря ныряет под канаты, наперебой пожимая ему руки, хлопая по плечу. Отныне Заикин становится кумиром американцев. Популярность завоевана.

Выигрыш Керли

Победа над Эвко не вскружила головы Заикину. Он чувствовал, как трудно далась она, как отяжелел он и даже чуточку обрюзг.

Эта обрюзглость, которую не замечали даже близкие друзья Заикина, незримо "сидела" у него где-то внутри, наливая свинцом ноги, заставляя сердце биться чересчур частыми толчками.

На последнем контрольном взвешивании Заикин с удивлением увидел, что набрал около восьми килограммов лишнего веса.

"Старею, что ли?" - удрученно подумал он. И придирчиво, с ног до головы, осмотрел свое отражение в зеркале. Мет, на него смотрел все тот же, пожалуй, внешне ничем не изменившийся Заикин. Лишь морщины на лбу углубились, стали резче, да у губ появились поперечные складки.

- Однако лишнее надо сбросить, - произнес он вслух.

Неделю Заикин отдал потогонной системе тренировок, унаследованной от Поддубного. Он работал со штангой, то и дело увеличивая ее вес, жонглировал гирями, занимался гимнастикой, совершал двухчасовую прогулку убыстренным гимнастическим шагом. По его просьбе Кэрли приставил к нему двух "профессоров" американской борьбы.

Два высоких костистых американца, дружелюбно улыбаясь русскому чемпиону и поминутно произнося "о'кэй", посвящали Заикина во все "тайнства" кэтча. Заикин добродушно и мягко укладывал своих учителей, пытавшихся втолковать ему какой-либо сногшибательный прием, на обе лопатки.

Его менеджер любезно предоставил русскому атлету возможность попрактиковаться в кэтче и на борцовском ковре. Противниками Заикина были борцы-профессионалы, входившие в первую шеренгу американской борьбы. Он легко укладывал их.

- О мистер Эйван, вы делаете большие успехи в кэтче, - воскликнул Кэрли после очередной встречи. - Слишком большие, - многозначительно повторил он. - Вы побеждаете весь цвет

американского спорта. Гостю так не положено.

- А я-то думал, что меня, как гостя, принимают с почетом, - отшучивался Заикин.

- Я убежден, мистер Эйван, что вы доброжелательно относитесь к американцам, - настойчиво гнул Кэрли.

- Мне нравятся ваши парни. И я готов коснуться лопатками ковра, если кто-нибудь из них как следует поможет мне в этом, - засмеялся Заикин.

- О мистер Эйван, можете не сомневаться, что мы поможем, - как-то странно хихикнул Кэрли и скрылся за дверью.

...Шумная толпа людей загрохотала Спрингфилд-авеню. Обе кассы театра Лорел-Гарден находились в осаде. Сквозь толпу, немилосердно орудуя локтями, пробивался усиленный наряд полиции. Едва полицейским удалось установить порядок у касс, как началась давка у входов.

На фронтоне театра то вспыхивают, то гаснут огромные светящиеся буквы "Заикин-Збышко". Эта встреча была одной из главных приманок для нью-йоркских любителей спорта.

Владек Збышко-Цыганевич - опытный и сильный борец. Не раз Заикину доводилось встречаться с ним в Париже, Вене и Белграде. И вот теперь массажист, как величайшую тайну, шепнул Заикину, что Збышко громогласно обещал положить его дважды в течение часа.

Эта похвальба, передаваемая из уст в уста, тотчас облетела и зал. Наиболее азартные стали заключать пари, громко называя победителя предстоящей схватки.

Неделя усиленных тренировок и согнанные полпуда веса пошли Заикину на пользу. Он стал подвижней, стремительней, легче. Он постиг премудрости кэтча... А это много значило в единоборстве с Збышко, считавшимся великим знатоком вольноамериканской борьбы.

Збышко раскрывался не сразу. Он постепенно перепробовал все свои знаменитые приемы, неизменно приносившие ему победу в схватках с другими борцами. Но Заикин стоял непоколебимой глыбой.

И тогда Збышко в бессильной злобе исступленно рванул ухо богатыря. Алый поток залил лицо Заикина. Он поднялся и, отстранив врача, ассистентов, выбежавших к нему на помощь, спокойно сказал:

- Бороться больше не стану. Нешто это по-честному? Если хотите знать, господа хорошие, я могу Збышко пополам разорвать, только это не борьба будет, а убийство.

...Спустя четыре дня Заикин встретился на ковре со знаменитым Джо Стэчером. Это был любимец Кэрли, бурно и стремительно взошедшая звезда кэтча. Массивный и вместе с тем сухощавый, с великолепно развитой мускулатурой ног, Стэчер славился своими ножными захватами. "Стальные ножницы Небраски" - рекламировал его Кэрли.

Джо Стэчер за тридцать минут уложил Збышко. И теперь он похвалялся, что ему нужно всего несколько минут для того, чтобы припечатать этого русского медведя.

Заикин с волнением ждал встречи со Стэчером. И вот, наконец, они сошлись на ковре. Четырежды в течение первых десяти минут американец пускал в ход свои "стальные ножницы" - казалось бы, неотразимые захваты ногами. Но Заикин ускользал, приводя в ярость своего противника.

Прошел час в тщетных попытках борцов добиться перевеса. Скрепя сердце судьи вынуждены были объявить ничью.

- Что вы скажете о нашем Джо? - напустились на Заикина газетчики.

- Ему надо бы подточить свои ножницы, - пошутил Заикин.

Назавтра этот совет появился во всех утренних выпусках нью-йоркских газет. Стэчер был взбешен. И, пожалуй, не меньше его негодовал Кэрли.

- Нет, мистер Эйван, - заявил он ему на следующий день. - Этот легкомысленный ответ вам даром не пройдет. Мне кажется, что вы пожалеете, - закончил он, криво улыбаясь.

Джо Стэчер вызвал Заикина на реванш. Эта встреча оттеснила все другие события на задний план. Казалось, весь Нью-Йорк осаждал

Мэдисон-сквер-Гарден в этот вечер тридцатого марта 1925 года. И вот они снова на ковре - громадный, пропорционально сложенный Заикин и чем-то неуловимо напоминающий большого бульдога Стэчер.

Аудитория была настроена воинственно.

- Припечатай его, Джо!

- Бери его ножницами!

- Покажи этому русскому медведю!

...С каждой минутой американец все больше свирепел, а русский, казалось, становился все спокойней, трезвей и рассудительнее.

Заикин легко разжимал знаменитые "ножницы". Его превосходство в силе оценили даже недоброжелатели.

Схватка шла с переменным успехом. На десятой минуте Заикин с силой бросил Стэчера и едва не прижал его лопатками к ковру. На тридцатой минуте Стэчеру удалось ловко обхватить "ножницами" торс Заикина. Казалось, еще мгновение - и русский борец коснется лопатками ковра. Но Заикин виртуозно ускользнул и тотчас перешел в наступление.

И вдруг произошло странное, необъяснимое.

- Сорок шесть минут пятьдесят секунд. Приемом "ножницы" победил Джо Стэчер! - выкрикнул главный судья.

Зал безмолвствовал. Наконец, напряженную тишину прервали одиночные неуверенные возгласы:

- Браво, Джо!

Журналисты пожимают плечами: они ничего не поняли. Среди них суетится улыбающийся Кэрли и, оживленно жестикулируя, пытается им что-то втолковать.

- Я же говорил, мистер Эйван, что вам, может быть, придется пожалеть.

- Жулики всегда клали меня на обе лопатки, господин Кэрли, - спокойно произнес Заикин. - Будем считать, что вы победили.

Ветер странствий

Заикин был мрачен, как туча. Он ходил из угла в угол и кусал



губы от бессильной ярости. За все годы его спортивной карьеры ему не приходилось видеть такого бесстыдства. "Сам виноват, - корил он себя. - Друзья предупреждали, Александр Иванович писал - гляди в оба. А вот не внял. Польстился на доллары и получил по носу".

За окном бушевал Нью-Йорк вечерний. Грохотал хайвэй - надземная железная дорога, завывали какие-то сирены и гудки, бесновались огни реклам. За этим шумом он едва расслышал стук.

Иван Михайлович распахнул дверь в самом воинственном настроении. "Если Кэрли - набыю ему морду", - тотчас решил он.

На площадке стоял располневший среднего роста человек, и добродушная усмешка светилась на его лице. Единственный глаз его в полумраке, казалось, излучал какой-то блеск.

- Давид Давидович! - воскликнул Заикин, широко улыбаясь и отступая назад от неожиданности. - Вот радость-то! Да как ты нашел меня, друг сердешный?

- На борьбе был, поражение твое видел, - ответил Бурлюк. - Ну и решил тебя утешить, ибо публика, за исключением самой оголтелой, разумеется, на твоей стороне. В наших глазах ты вышел победителем, Иван Михайлович. Стэчер - жулик и судьбы - тож.

Напоминание об испытанном позоре снова обожгло Заикина. Он зашагал по комнате.

- Я расторг контракт, и, ежели он попадется мне под горячую руку, этот Кэрли, я из него яичницу с ветчиной сделаю. И чего я в этой проклятой Америке не видал! - продолжал сокрушаться он. - Ведь предупреждал же меня Александр Иванович. Вот, почти-ка, - и он протянул Бурлюку письмо Куприна. "Ты не напрасно боишься Америки, - читал Бур-люк. - Это страна жулья. Антрепренер выжмет из человека все соки и выбросит. Но зато там, если понравишься, - только знай собирай доллары, как бабки, а у тебя этот дар - нравиться - есть в очень высокой степени, да и изобретателен ты на рекламу. Умные люди подписывают с американцами очень точные и жесткие контракты..."

- Понадеялся на дар да и получил удар, - хмуро процедил Заикин.

- Еще досель ни разу никто меня не обжуливал, и решил я, что это невозможно...

- И поплатился, - подхватил Бурлюк. - А здесь, друг мой, мошенники высочайшей пробы. И не только в спорте.

- Дьявол с ними. Подписал контракт с менеджером Сигаролли. Еду на Кубу. Не знаешь ли этого Сигаролли?

Бурлюк пожал плечами.

- Все они одним миром мазаны - Сигаролли, Кэрли, - вздохнул Заикин. - За фисташки душу заложат. - И, заметив, что Бурлюк не понял, пояснил: - Это Александр Иваныч фисташками деньги называет. Ну, ладно. Расскажи лучше, как ты.

Давид Бурлюк, один из вождей русского футуризма, друг Маяковского, поэт и художник, поселился в Штатах недавно. Ветер эмиграции занес его сначала в Японию, а потом подхватил и швырнул за океан. Познакомил их Василий Каменский, поэт-авиатор, в те давние дни, когда Заикин еще не остыл от увлечения

авиацией, а Каменский только начинал летать. Василий Васильевич Каменский был дружен и с Куприным. О том, как дружили они, "три Казбека", Каменский напомнил в письме Заикину много лет спустя, уже после войны: "Еще будучи студентом в Петербурге я, как и все студенты, с ума сходил от Ивана Заикина, да от такого репинского бурлака, кто уж нам, студентам, напоминал самого Стенюшку Разина.

Так в цирках Петербурга и в Михайловском манеже, где собиралось по десять тысяч народу, наш любимый борец, бурлак Иван Заикин вызывал на бой знаменитого на весь мир борца Збышко-Цыганевича, вызывал Ивана Поддубного, вызывал Лурих-мостовика, негра Билли Чезе, великанов всея Руси, и у всех у нас на горящих как факелы глазах побеждал.

Арбитром был тогда самый сильный из студентов - "дядя Ваня" Лебедев. Красавец-парень, сам борец, спортсмен, агитатор (натурой) физкультуры. Потом мы узнали, что наш богатырь стал авиатором. И даже в Одессе сам Куприн летал с ним пассажиром на самолете "фарман".

Вскоре я сам стал летчиком (учился в Париже), а потом... поэтом. Так моя молодость вся была связана с Иваном Заикиным, ибо я всегда любил спорт во всех видах и успешно им занимался. В Тифлисе, в цирке Исаковского, в 1915-м году я выступал уж сам на лошади, читая свою поэму "Степан Разин", и здесь-то я близко сдружился с чудесным Иваном Михайловичем Заикиным, который в то время принимал самое главное участие в чемпионате борьбы, где были и Иван Поддубный, и Буль, и Вахтуров и многие из знаменитых борцов. В это же время в Тифлис приехал наш любимый писатель Александр Иванович Куприн - большой друг Заикина и мой. Вот тут-то наша "русская тройка" и загуляла.

Это были такие друзья, что никакое землетрясение нас разделить не могло. Мы были - три Казбека вечной дружбы, три Куры Кахетинского вливалось в нас, неразлучных...

Вот тогда мы, я и Александр Иванович Куприн, оценили мудрую могучую талантливую русскую богатырскую природу Ивана

Михайловича Заикина как представителя народной непобедимой силы...

И раньше, и тогда и долго после имя Ивана Заикина мы все произносили с русской гордостью и высоким уважением, как и имя Ивана Поддубного..." "Побольше напиши о Куприне, - напутствовал Заикина Каменский, узнав о том, что тот собирается диктовать воспоминания. - Он ведь очень любил спорт, цирк..."

...Бурлюк встряхнулся и развел руками:

- Что тебе сказать? Была, как ты помнишь, и такая троица - я, Маяковский и Каменский. Ездили всюду вместе, прославляли футуризм, щеголяли в желтых кофтах, скидывали классиков с корабля современности. Ну и, как видишь, оказался я за бортом этого корабля. - Бурлюк шумно вздохнул. - Пересажен на чужую почву и приживаюсь на ней плохо. Занимаюсь живописью. Стихи писать почти что бросил, - здесь все это ни к чему. Вот мой последний сборник - "Маруся-сан". - Он осторожно вытянул из кармана книжицу в бумажной обложке, надписал ее и протянул Заикину. - Лебединая песня. Возьми на память. Ты ведь мне жизнь спас. Помнишь?

- Как не помнить, - отозвался Заикин. - Сам еле ноги унес.

В памяти живо, словно было это вчера, а не пять лет назад, всплыл эпизод, чуть не окончившийся трагически для Бурлюка.

В смутном 1920 году они оказались в Харбине. Заикин выступал в цирке, а Бурлюк организовал вечера русского революционного футуризма. Вот это словечко "революционного" в афишах чуть не оказалось для него роковым. В Харбин сбежалась белогвардейщина, успевшая кое-как унести ноги от стремительного натиска Красной Армии. "Революционный футуризм" подействовал на все это охвостье, точно красная тряпка на быка.

Вечер начался чинно. Заикин, свободный от выступления, сидел в первом ряду и слушал громокипящее чтение Бурлюка. Тот бросал в зал злые, накаленные докрасна строфы Маяковского:

*Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут,
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий...*

Неожиданно в зале раздался пронзительный свист. Из разных концов полетели выкрики:

- Большевик! Мерзавец!
- Хамское отродье!
- Красный выродок! Бейте его!

Бурлюк невозмутимо оглядел зал и продолжал:

- *Хотите - буду от мяса бешеный...*

Последние слова потонули в криках и реве. По проходам бежали люди с искаженными от ярости лицами. Решение было мгновенным: Заикин одним прыжком перемахнул через барьер и выскочил на сцену. Бурлюк, побледневший от волнения, пятился назад.

Он встал рядом с ним. "Голыми руками не отбиться, - мельком подумал он, ища глазами какое-нибудь импровизированное оружие. Поблизости ничего подходящего не было. Тут взгляд его упал на пюпитр - массивную металлическую треногу на шесте. Заикин стремительно ухватил его и размахнулся.

Бурлюк исчез за кулисами. Убедившись в этом, Заикин веско сказал людям, обступившим его полукругом, но державшимся на почтительном расстоянии от его "палицы".

- Кто сунется - уложу. Вы меня знаете. Ни один не уйдет.

Багроворожий офицер в кителе со споротыми погонами визгливо крикнул ему: - И ты, хам, с большевиками снюхался?! Глаза Заикина округлились от бешенства. Он был страшен.

- Уйди, недобиток, царская вошь!

Заикин крутнул над головой тяжелый пюпитр и двинулся вперед.

Люди бросились со сцены, толкая и давя друг друга. - Да, пропал тогда мой контракт и гонорар, - усмехнувшись, продолжал Заикин. - В диковину было мне бегать как зайцу.

- Зато японцы тебя чуть ли не на руках носили, - напомнил Бурлюк. - Марию Никифоровну, супругу мою, помнишь? Так вот она все вырезки газетные собирала. Там тебя за сверхъестественного человека почитали, так и писали: "Заикин - феномен, сверхъестественный человек"... Заташу тебя к нам непременно, подарим вырезки эти. Мария моя на тебя молится, все время твердит: если б не Заикин, не его поддержка, мы бы погибли.

- Ну, это зря она так, а к вам я приду беспрерывно, - ответил он, внутренне довольный. Что и говорить - было. Семья Бурлюка бедствовала, и если бы не помощь Заикина, им пришлось бы туго в этой "стране восходящего солнца", где Бурлюки обосновались на некоторое время и где на них смотрели косо, как на всяких чужестранцев.

Ветер странствий носил Заикина по миру. Он рассказывал о своих поездках Бурлюку, слушавшему его с жадным вниманием: везде Заикину довелось встречаться с земляками.

В конце 1922 года он совершил триумфальную поездку по Италии. Рим, Милан, Палермо, Катания, Падуя. Ни одного поражения. Заикин протянул Бурлюку кину газетных вырезок: "Аванти", "Иль секоле", "Корьере делло спорт", "Иль мондо", "Иль пополо д'Италия", "Ло спорт иллюстрато", "Ла нуова Италия sportiva"... Заголовки через всю полосу, огромные фото, дружеские шаржи, рисунки "колосса с Волги".

Блистательная победа над чемпионом Италии Карло Ре была вершиной его итальянского турне. Карло Ре - стройный, быстрый в движениях, очень техничный борец - был моложе Заикина на восемь лет. Газеты, захлебываясь от восторга, писали о том, как сорокадвухлетний Заикин - победитель Райцевича - в несколько минут расправился со своим молодым, находившимся в зените славы противником.

- Был я и в Неаполе, навестил Алексея Максимыча Горького на

Капри, - с просветленным лицом вспоминал Заикин. - Душевно он ко мне, ребролому, отнесся. Только вот каждый раз робею я перед ним: с разными людьми меня жизнь сталкивала, перед графами, царскими наследниками головы не клонил, а вот перед ним робею, хоть и свой он, волгарь, и не раз доводилось у него бывать - и в Арзамасе, и в Питере. Ездили мы на рыбацкой лодке, на Везувий глядели. Кругом красота, великолепиие, а я с Алексея Максимыча глаз не свожу.

- Да, велик он, светел и мудр, - задумчиво произнес Бурлюк. - И хоть он меня не очень-то жаловал и за глаза крикуном называл, а кланяюсь я ему низко, признателен за высокую человечность. Таких людей только Россия дать может, - убежденно закончил он.

Заикин неторопливо перебирал письма, фотографии, газетные и журнальные вырезки. Бурлюк склонился над ним, то и дело беря в руки что-либо, заинтересовавшее его.

- Это где же вы снимались - ты, Куприн и Скиталец?

Заикин наморщил лоб, вспоминая.

- Кажись, в Одессе, - неуверенно произнес он. - А может, в Тифлисе...

- Не тогда ли, когда ты одного моего единомышленника-футуриста мячиком сделал? - смеясь, спросил Бурлюк. - Помню, Александр Иванович очень живо рассказывал об этом: подавался вперед, щелкал пальцами, словно стрелял хлебным шариком.

- Сожалею об этом, но уж больно нахальный был господин, - хохотнул Заикин. - Кругом приличные люди, а он охальничает, насмехается над всеми. И обед кончился, а все не унимается. Ну, тогда пришлось его маленько утихомирить. Швырнул его в угол, после этого он и замолчал.

- Эва, как тебя мотало, - удивился Бурлюк, перебирая вырезки: - Югославия, Греция, Египет, Германия, Болгария, Чехословакия, Франция... А в Италии ты, выходит, дважды был.

- Дважды, - подтвердил Заикин. - Потом пригласили на конкурс европейских борцов. Да нешто это борцы! Всех разложил.

- Все твое жизнеописание тут, - резюмировал Бурлюк. - Если их

аккуратно подобрать - день за днем, месяц за месяцем - роман можно о тебе написать.

- Это ваше, писательское, дело. А у меня весь этот роман вот где сидит, - Заикин стукнул ладонью по массивному лбу. - Бывало, как начну Александру Иванычу рассказывать, тот только слушает да ахает. Не счесть, сколько разов я с аэроплана падал, сколь меня разным железом давило. Вот в Осеке, в Сербии городишко есть, поднял я якорь в двадцать пудов... Глянь-ка, где-то у меня тут газетка есть, прописано про это.

Бурлюк нашел, наконец, вырезку и стал, смакуя, читать:

"...выступая в цирке Ренслов, взял на правое плечо якорь в 300 килограммов и в течение нескольких минут обходил манеж. Думая бросить якорь с эффектом, Заикин забыл о том, что у якоря - четыре широкие лапы. Одна из них полоснула богатыря по левой стороне спины, чуть выше поясицы. Удар был так силен, что Заикин пятнадцать минут лежал без сознания. Врачи запретили ему выступать. Но уже на следующий день атлет был на арене..."

- А что, - самодовольно улыбнулся Заикин. - Сколько уж бился,



колотился, вон, - он быстрым движением задрал рубаху и показал синие рубцы шрамов, исполосовавшие могучее тело. - А все жив курилка. Видно, мне на роду написано своей смертью помереть.

- Диковинный ты человечиче, - восхитился Бурлюк, продолжая перебирать стопу бумаг. - Напишу я о тебе непременно. Хотя бы для наших здешних газет. И портрет твой хочу написать, покамест ты здесь. Согласен?

Заикин качнул головой:

- Для милого дружка и сережка из ушка.

- Э, а вот знакомый почерк. Василий Каменский. Стихи, впрочем, так себе. - И он нараспев прочитал:

*Заикину, взлелеянному Волгой,
Тебе - кого боготворю,
Желаю песни вольной, долгой -
Российскому богатырю.*

*Ты славен силой непомерной,
Ты весь - размах от океанов,
Ты сын земли единоверный,
Ты великан из великанов!*

*Легко ты гнешь стальные прутья,
(И даже рельсы гордо гнул) -
Готов воспеть такую грудь я
За сокрушительный разгул...*

Бурлюк отложил в сторону стихи и задумался.

- Маяковский - первый поэт новой России, - словно бы обращаясь к самому себе, заговорил он. - Каменский издает книгу за книгой. А я пробавляюсь плохой живописью, я здесь никто...

Он как-то сразу весь сник, постарел на глазах. Поднялся и, сторбившись, ушел, взяв обещание с Заикина, что тот приедет к нему и будет позировать. Да, Маяковский стал первым поэтом новой России. А по Каме плавал пароход, на борту которого была выведена надпись "Василий Каменский". Поэзия и сами поэты воплощались в пароходы и другие добрые дела.

Уже после войны в Кишинев пришла открытка с американской маркой. Бурлюк писал:

"В нашем просоветском рабочем "Русском голосе", верном друге Великой Страны, прочитал с Марусей ваше слово молодым советским спортсменам. Были растроганы знать, что вы живы и Советская власть заботится о вас.

Счастливы! Наши оба сына воевали в армии США.

С любовью ваш Давид Бурлюк".

В свой последний приезд в Советский Союз Давид Бурлюк привез портрет Заикина. Он успел закончить его.

"К черту Америку!"

"Если Гавану окинуть взглядом, - рай страна, страна что надо".

Великолепными особняками, пальмами, благоуханными цветами встретила русского борца столица Кубы. На небоскребе, сверкавшем тысячью окон, почти у самого входа в порт переливались буквы рекламы: "Иван Заикин, чемпион мира. Величайший атлет Европы выступает сегодня в Гранд-Паласе". И здесь, в кубинской столице, реклама переливалась огнями, кричала многоцветием букв, изысканным испанским языком дикторов гаванского радио.

Впрочем, Заикина хорошо знали и кубинские любители спорта. Из уст в уста передавались легенды об этом феноменальном силаче, "короле железа", в газетных киосках раскупались рекламные проспекты, с обложки которых улыбался добродушный великан. Его борцовское трико было все усеяно созвездием серебряных и золотых медалей.

Здесь, в Гаване, русскому богатырю снова предстояло встретиться с Владеком Збышко.

Спасаясь от назойливых репортеров, Иван Михайлович сбежал из номера, кивком головы остановил проезжавшее такси диковинного оранжевого цвета, уселся рядом с шофером и на ломаном франко-испанском языке с трудом объяснил, что хочет посмотреть город.

- Си, сеньор Заикин, - понимающе кивнул головой шофер.

Заикин просиял. Ему, пожалуй, в тысячу раз приятнее было знать о своей популярности среди простого люда, чем слышать свое имя из уст аристократических посетителей первых рядов.

Шофер что-то лопотал по-испански, дружелюбно улыбаясь и поминутно тыча пальцем в открывающиеся за ветровым стеклом достопримечательности кубинской столицы.

Проехали фешенебельную часть города. Вдоль великолепного асфальтового шоссе, разлегшегося по океанскому побережью, потянулись трущобы-фавеллы, наспех слепленные из фанерных

ящиков, досок и жести.

Шофер остановил машину и произнес какое-то короткое слово. Заикин понял: повернем, дальше неинтересно. Он энергично ткнул пальцем вперед, и шофер, решивший было, что кварталы бедняков не могут заинтересовать приезжую знаменитость, послушно повел машину дальше.

Да, во время своих странствий по Европе и Америке Заикин привык к этим контрастам, к этой калейдоскопической смене богатства и нищеты, дворцов и хижин. Так было всюду: в Нью-Йорке с его Гарлемом и в Лондоне с Истэндом, Уайт-Чепелем, в парижском Иври и портовых кварталах Марселя...

Насмотревшись, Заикин повторил запомнившееся испанское слово. И шофер послушно повернул свой оранжевый лимузин.

Здесь, в Гаване, как, впрочем, и всюду, где доводилось выступать Заикину, полиция с трудом сдерживала напор толпы, желавшей проникнуть под своды огромного цирка: встречи с Владеком Збышко были решающими в схватке этих больших мастеров борьбы.

Когда несколько улегся шум и экспансивные гаванцы уселись, наконец, на свои места, Заикин, сбросив свой алый халат, вышел на помост и поднял руку. Зал мгновенно стих.

- Уважаемые господа! Сегодня мы с Владеком Збышко встретимся для того, чтобы определить победителя. - Заикин сделал паузу и выжидательно посмотрел на переводчика. Тот заговорил по-испански, энергично рубя рукой воздух.

- ...Первая наша встреча в Нью-Йорке, как вам, может быть, известно, окончилась победой Збышко: я вынужден был отказаться от борьбы - повредил себе ухо. Вторая встреча не дала результата...

Заикин неожиданно снял с себя широченную муаровую ленту, унизанную чемпионскими медалями, и потряс ею перед публикой.

- Если сегодня мой уважаемый соперник положит меня на обе лопатки, я отдаю ему этот пояс.

Когда переводчик передал смысл этого заклада, экспансивные кубинцы повскакали со своих мест. Свист, хлопки, восторженные

возгласы сотрясали огромное здание.

Схватка была долгой, энергичной и очень напряженной. Зал клокотал, отзываясь на каждое движение борцов. Когда их могучие тела сплетались в объятиях, раздавалось характерное хлопанье сидений: зрители в едином порыве вставали с места, стараясь не пропустить ни одного мгновения, ни одной детали.

Збышко был уже измотан, а его 45-летний противник, казалось, только вступил в поединок. Превосходство Заикина в силе было очевидно. Все ждали конца напряженной схватки, и он, наконец, наступил. Заикин неуловимо точным броском перевел Збышко в партер и, навалившись могучим корпусом, прижал лопатками к коврику.

Пожалуй, никогда восторг публики не был столь жарким. Хлопки, свист, крики слились в сплошной могучий рев. Два-три десятка смельчаков, прорвав полицейский заслон, ринулись на помост и понесли слабо отбивавшегося атлета на руках.

Выступления Заикина на Кубе были сплошным триумфом. Стареющий "русский медведь" никак не мог исчерпать силу своих железных мускулов. Пятнадцать схваток - пятнадцать побед. Две - над прославленным Владеком Збышко. С каждой победой Заикина его новый импрессарио Сигаролли мрачнел. Не раз пробовал он урезонить "мистера Эйвана", с присущим ему красноречием доказывая, что так нельзя, что он-де, Заикин, гость, а потому должен обращаться нежно со своими противниками - не класть их сразу на лопатки, уступать им.

- Что же это вы, сеньор Сигаролли, меня уговариваете? Ведь я не вас кладу на лопатки? Пусть меня сами борцы просят, - шутливо отмахивался Заикин.

- А они уполномочили меня, мистер Эйван, - вымученно улыбаясь, произнес Сигаролли. - И если вы настаиваете, то... Они вас попросят. - И, не произнеся традиционного "гуд бай", выскочил из номера, хлопнув дверью.

Неожиданно дверь снова открылась, и в номер просунулась голова Сигаролли.

- Борьба-это бизнес, мистер Эйван! - прокричал он. - Надеюсь, вы скоро это поймете...

От полунамеков и намеков взбешенные противники русского богатыря перешли к действию.

Однажды во время схватки Заикин рассек себе бровь и, по-видимому, слегка повредил глаз. Стоя перед зеркалом, он внимательно и сосредоточенно рассматривал покрасневший глаз и даже не слышал шагов Збышко.

- Что, Иван Михайлович, оплошал?

- Да вот, видишь, глаз что-то покраснел и веко опухло.

- Я сейчас помогу тебе, - засуетился Збышко. - Средство у меня одно есть... Сию минуту принесу.

Збышко опрометью бросился из уборной. И почти тотчас вернулся с пузырьком какой-то зеленоватой жидкости.

- Вот. Смажь на ночь. А я тороплюсь... Через час уходит мой пароход в Штаты...

На душе Заикина потеплело. Он протянул руку своему недавнему сопернику, но тот уже пятился к двери.

- Будь здоров, Иван Михайлович, - бормотнул он, не глядя на Заикина. Рука повисла в воздухе...

На утро больной глаз чудовищно распух. Вызвали врача. Он тщательно осмотрел Заикина и покачал головой. Затем попросил принести снадобье, которым Заикин смазывал глаз по совету Збышко.

Врач открыл флакон, понюхал, и лицо его перекосилось от гнева. Он горячо заговорил по-испански, а затем в сердцах плюнул на пол.

- Вам подсунули медный купорос, - сказал переводчик. - Необходимо длительное лечение. Иначе вы можете потерять глаз.

Месяц спустя Заикин покидал Кубу. Когда слуга увязывал чемоданы, в номер ворвалась толпа экспансивных гаванских газетчиков. Оживленно жестикулируя, перебивая друг друга, они наперебой забросали русского борца вопросами о причинах его неожиданного отъезда.

- Скажи им, друг любезный, что нашему брату - честному борцу -

здесь делать нечего, - попросил он переводчика. - Спорт в Америке - источник наживы, а коли человек силен, то ему горло перегрызут.

- К черту Америку! - закончил Заикин свою речь и добродушно хлопнул по плечу одного из репортеров. Тот крикнул и волчком завертелся по комнате.

Русский борец мысленно подводил итоги своего заокеанского турне. Если бы не жульничество, они сложились бы в ряд блистательных побед: над Эвко, Збышко-Цыганевичем, Стэчером, Джо Комаром, немецкими чемпионами Карлом Гаккеншмидтом (думаю, что Гордин ошибся - Георгом - прим. Хаммера) и Деккером и другими, рангом поменьше.

"Нет, так я этого не оставлю, - думал Заикин, распаяясь все больше. - Пусть хоть честные люди знают о мошеннических махинациях этих антрепренеров".

- Вот что, братцы, - остановил он репортеров и кивком предложил им сесть. - Я хочу сделать заявление для газет, - пояснил он переводчику. - Пусть запишут, что я возмущен нечистоплотными приемами борцов и антрепренеров, которые практикуются в Америке. Я решил передать дело адвокату для привлечения к уголовной ответственности устроителей борьбы. Это первое. Теперь надо припечатать тех, кто выступает под моей фамилией, а то уж больно много развелось в Штатах заикиных.

Видя, что его не поняли, Заикин стал объяснять: в Филадельфии, в Сент-Поле, в Чикаго объявились лже-заикины. Один из них ему ведом - товарищ по поездке. Иные же борцы, в том числе Станислав Збышко-Цыганевич-старший, объявляют себя его, Заикина, победителями.

- Старая история, - усмехнулся атлет. - Было так и в России, и во Франции. А меня, уважаемые господа, по-честному еще никто не клал на лопатки, кроме Поддубного. Да. И на всех моих бумажных победителей в Штатах я намерен подать в суд.

На следующий день газеты во всю комментировали заявление русского борца. Было опубликовано и его письмо:

"Два месяца назад, законтрактованный менеджером Сигаролли, я

выехал на о. Кубу, где происходили матчи американской борьбы. В чемпионате вместе со мной и Владеком Збышко было всего 15 борцов. Все они были мною побеждены, не исключая Збышко, который в первый раз после 28-минутной схватки отказался бороться, а во второй раз я его положил.

К моему великому изумлению, я случайно из американских газет узнал, что я одновременно боролся на Кубе и в Чикаго, где меня... победили. Само собой разумеется, что это чистая ложь и кто-то, очевидно, в корыстных целях, выставил за меня другое лицо, назвав его Заикиным. Считая, что это прием совершенно не допустимый, граничащий с уголовным преступлением, я решил привлечь менеджера к уголовной ответственности..."

Тринадцатого июня 1925 года Заикин поднялся на борт парохода "Левиафан". Он возвращался в Европу. В Париже его встретили заголовки вечерних газет:

"Иван Заикин недоволен американцами", "Сенсационный русский атлет возвратился непообежденным", "Заикин возбуждает судебное дело"...

Иван Михайлович бросился разыскивать Куприна. В небольшой скромно обставленной квартирке писателя, где главным богатством были книги, уже находился посетитель.

Куприн встретил его с большой душевностью и после первых расспросов вспомнил, что не представил ему своего гостя.

- Вы не знакомы? Иван Михайлович Заикин, известный борец, - Алексей Николаевич Толстой - известный писатель.

- Заикина знаю, - добродушно сказал Толстой, пожимая руку атлету. - Российская, можно сказать, знаменитость. Ну, как, Иван Михайлович, американцы?

- Жулики! - убежденно ответил Заикин. - Больше я туда - ни ногой, хоть с голоду подышать буду.

"На днях приехал в Париж после триумфа в Америке знаменитый русский борец Иван Заикин, - писал Куприн в одной из парижских газет. - Американские журналисты не без основания называют его в многочисленных статьях и заметках "одним из самых сильных

людей земного шара". Мы же, русские друзья, знаем и ценим в этом колоссе широкую и добрую душу, верность в дружбе и увлекательную прелесть его свободной волжской речи, сдобренной метким наблюдательным юмором..."

"Я - русский!"

Незаметно подкрадывалась старость, нанося морщинку за морщинкой, вывязывая синеватые узлы вен на ногах. Случалось, Иван Михайлович чувствовал сердце, о существовании которого прежде не ведал.

Годы... Заикин не замечал их бега. А они шли чередой, которая только казалась ровной, но на самом деле стала убыстряться к закату. "Американское безобразие" чуть было не сломило его. Задыхаясь от гнева, вспоминал он продажных менеджеров-организаторов бесстыдных драк, именовавшихся борьбой, спортом, всю эту систему тотализатора, где ставки делались на жизнь или на смерть человека, где все продавалось - сверху донизу.

"Неужто там всюду так? - думал он. - Должно быть, всюду, если и Александр Иванович точно так чувствует и понимает".

Заикин вспомнил своего американского антрепренера Кэрли и скрипнул зубами. Попадись он ему теперь... Показал бы этому самодовольному янки кузькину мать...

Да, заокеанское турне до сих пор давало о себе знать. Порой мутная пелена застилала глаза, и Иван Михайлович яростно тряс головой, словно пытаясь стряхнуть ее. По телу прокатывался холодок. "Неужто слепну?", - со страхом думал он.

"Присоветовал бы ты, Александр Иванович, что делать. Наслали на меня слепоту проклятые янки, - писал он Куприну. - Болят глаза, лечат меня разные коновалы, дерут деньгу большую, а проку никакого".

Куприн слал утешительные письма. Однажды пришел перевод. И горькое признание: за десятилетия литературного труда ничего не нажил, кроме долгов. "...Накатал 20 томов, с политикой еще больше, знаком каждому грамотному человеку в мире, а остался голый, как... нищий, как старая бездомная собака... Горько, брательничек. Повернулась к нам судьба задом. Я не сетую, покоряюсь воле провидения, - так, может быть, мне и нужно. Но

кислое - есть кислое, горькое всегда горько, а если тебя посадят на кол, то как не сказать больно? Ну вот и пиши тут".

Куприн советовал ехать в Белград. Есть, мол, там один русский врач-глазник. Все в один голос твердят: маг и кудесник....

"Нешто можно на мои-то доходы в Белград катить?" - невесело размышлял Заикин. Перспектива потерять зрение на мгновение встала перед ним. И он ужаснулся. "И в самом деле по миру пойду. Это когда у меня мошна тугая, друзья кругом. А чуть дела пошатнутся - поминай их как звали".

И вот тогда накатили мысли о тихой жизни, о своем угле. Кишинев показался ему землей обетованной. Удивительная тишь царила в этом зеленом городке. Стоило спуститься сумеркам, как тотчас захлопывались ставни, и улицы погружались в первородный мрак. Истошно брехали собаки да изредка раздавалась пьяная песня загулявшего прохожего.

Но не это главное. Главное, чем больше всего был мил этот город сердцу Заикина, - русской речью. Кишинев, оторванный от России, не забывал языка. Все здесь, в этой "загранице", говорили по-русски: и старики, и сопливые босоногие мальчишки, бегавшие за ним, словно бы за слоном, и указывавшие на него пальцем.

Что там ни говори, а Кишинев оставался уголком Родины. Это было самое главное. И Заикин поселился в худеньком домишке на окраине, на Каменоломной улице.

Дом был мал, не по сану тому, на кого возложили корону "короля железа", кто был одной из знаменитостей мирового спорта. Но Иван Михайлович не придавал этому значения.

"Благо, и такой есть", - весело думал он. Поначалу мысль, что он, Заикин, волжская свая, вечный бурлак, десятилетиями тянувший свою лямку на цирковых аренах мира, стал домовладельцем, изрядно сместила его. Но постепенно по привычке и все чаще обхажибал "свой дом", все больше хотелось ему, вечному бездомному бродяге, уюта и тепла.

Борьба, цирк-все это отошло куда-то назад, стало казаться ненужной суетой. Теперь Иван Михайлович день-деньской

просиживал на лавочке возле своего дома. Положив на колени свои могучие руки, следил глазами за редкими прохожими, за возней детишек, шумно скатывавшихся с обрыва, в который упиралась улица.

Он уже отличал самых ловких из них, особенно мальчишек. Заикин любил наблюдать мальчишеское соперничество в играх-играх городской бедноты, которая населяла этот район старого Кишинева. Ему не доводилось видеть в руках детей какой-нибудь игрушки... Их заменяли разный хлам и разбитые вещи, милостиво выданные взрослыми и отслужившие свой век.

Большей же частью ребята обходились без игрушек. Силой своей фантазии они становились то индейцами, то мореплавателями (не беда, что никто из них в глаза не видел моря), то разбойниками или пожарными...

Распалившись, мальчишки начинали бороться. И чем дальше, тем злее. Вокруг борющейся пары смыкался круг, слышалось пыхтение, сопение, ругательства. Зрители, шмыгая носами, подзадоривали соперников. А те расходились подчас не на шутку. И когда из кружка раздавался рев, Иван Михайлович вставал и неторопливо подходил к борцам - Гулливер среди лилипутов. Он раздвигал кружок, хватал под мышки обоих и на потеху всей ватаге кружил их.

- Бороться надо по правилам, - назидательно приговаривал он, легонько шлепая соперников.

А те, отойдя, начинали жаловаться друг на друга:

- Это Ванька. Он завсегда норовит укусить...

- А ты царапаешься!

- Эх вы, борцы сопливые, - укоризненно говорил Заикин. - Где же это вы видели, чтобы в цирке, скажем, царапались или кусались? То-то, вот! Это в зверинце царапаются и кусаются, да и то люди зверей по клеткам рассаживают.

Иван Михайлович начинал объяснять мальчишкам, как надобно бороться, какие правила существуют в спортивной борьбе. Он показывал им приемы. а они, преисполненные почтения, впитывали

каждое его слово, стараясь уловить и запомнить каждый жест, каждое движение.

Ребятишками никто не занимался. Они росли здесь, словно кусты лебеды или чертополоха, без ухода, без "полива", предоставленные самим себе. Родителям, как правило, было не до них: заботы наваливались на каждого - о куске хлеба, о семье, о доме.

И детвора тотчас и сполна оценила внимание, которое оказывал ей этот знаменитый дядя Ваня. О том, что он знаменит, знали все: и дети, и взрослые. То и дело к калитке заикинского дома подкатывали экипажи и автомобили. И кишиневские воротилы - меценатствующие заводчики и важные чиновники, - и люди заезжие стремились побывать у Заикина, ставшего городской достопримечательностью.

Иван Михайлович знал истинную цену этому вниманию. Он понимал, что в глазах искателей его дружбы представлял собой просто-напросто некий человеческий феномен, экземпляр редчайшей силы.

Поначалу он добродушно принимал все эти визиты, показывал даже визитерам все свои спортивные регалии, в том числе знаменитый борцовский пояс, унизанный золотыми и серебряными медалями и весивший добрый пуд. Он надевал его на свое могучее тело, и медали мелодично звенели, отзываясь на каждое движение.

Но потом вся эта суэта порядком осточертела ему.

- Вот что, мать, - наказывал он жене. - Приедет кто из сиятельных - нету меня дома. Ну их к лешему. Одно беспокойство.

"Сиятельные" подкатывали и, услышав, что Заикина нет, уезжали восвояси. Иван Михайлович глядел в оконца кухни, усмехался и приговаривал:

- Милости прошу, господин хороший: поцелуй пробой и ступай домой.

Иван Михайлович вернулся к тренировкам легко и просто. Снова обливался ледяной водой и жонглировал двухпудовиками. По вечерам перебирал афиши, просил, чтобы ему читали газеты.

Так узнал он о триумфальном американском турне своего старого

соперника по борцовскому ковру Ивана Поддубного.

Поддубному шел шестой десяток, но он играючи раскладывал своих молодых соперников, чемпионов США и Европы. Полтора десятка встреч - и ни одного проигрыша! Газетные репортеры взахлеб писали о триумфе старого Поддубного, "русского Геркулеса", единственного в истории борьбы атлета, ни разу не коснувшегося лопатками ковра.

"Вот чертяка старый, - думал Заикин. - И откуда такое? Ведь дед уже, и внуков куча, а силы будто не убыло."

- Пиши ему, дуболому, поздравление, - диктовал он соседу-гимназисту: - Горжусь тобой, Иван, не посрамил ты великую нашу Россию, силы нашей русской не посрамил...

На конверте надписал: Советский Союз, Москва, Комитет по спорту, Ивану Максимовичу Поддубному.

Спустя два дня, под вечер, когда Иван Михайлович только собрался ужинать, во дворе залились лаем его любимые таксы.

- Поди, открой, - сказал он жене. - Кого-то черти несут на ночь глядя.

Поздним гостем оказался сам префект полиции, давненько причислявший себя к заикинским почитателям. Тучный, непрерывно стиравший со лба и шеи струи пота, он стоял перед Заикиным в позе, изображавшей почтение, и, видно, ждал приглашения сесть. Но, так и не дождавшись, грузно плюхнулся на табуретку. С минуту оба молчали. Заикин ждал, что гость заговорит о цели своего визита, префект, в свою очередь, надеялся, что хозяин поинтересуется сам. Первым сдался префект. Он подвинул свою табуретку к стулу Заикина и отрывисто произнес:

- Слыхали, домнуде Заикин? Поддубный-то... Каков силач! - и он прищелкнул языком в знак восхищения.

- Что ж, русские всегда были первыми в борьбе. Наша земля издревле богатырями славится, - ответил Заикин, недоумевая о причине визита префекта

"Неужто он только за тем и приехал, чтобы рассказать мне о Поддубном? - ломал голову Иван Михайлович. - Или подразнить

хочет, боров".

Заикин несколько раз обращался к румынским властям с просьбой выдать ему паспорт для поездки за границу. Но каждый раз получал отказ, одобренный самыми различными предложениями, или предложение повременить. Чиновник, расположенный к нему, как-то проговорился, взяв с Заикина страшную клятву, что тот не выдаст его:

- Не хотят вас пускать, потому что нет у вас румынского подданства. Вы вроде бы иностранец, советский. Вот и боятся, на привязи держат. Иван Михайлович усмехнулся и махнул рукой. "Э, да черт с ними. Все равно бороться мне не с кем, антрепренеры все жулики, только прогоришь с этими гастролями".

Заикин вспоминал все перипетии своих ходатайств о выезде за границу. Тогда префект вкрадчиво произнес:

- Вы, Иван Михайлович, тоже могли бы стяжать лавры на спортивном поприще. Да-с, не хуже Поддубного. Думаю, что Европа против вас никого выставить не сможет.

- Так вы же меня не пускаете, уважаемые господа, - простодушно вырвалось у Заикина.

- А почему? Вы сами не задумывались над этим, любезный Иван Михайлович? - вкрадчиво протянул префект. Заплывшие глазки его источали мед и сахар.

"Вот ты куда гнешь! - внутренне усмехнулся Заикин. - Нет, не купишь, не так я прост".

А префект, прямо-таки сочась любезностью, продолжал:

- А почему бы вам не принять румынское подданство, Иван Михайлович? Я вам как другу советую. Правительство Его Величества готово было бы предоставить вам все условия, если бы вы боролись под румынским... э-э-э... флагом... Чемпион королевства Иван - нет, Ион, так было бы лучше, - Заикин, да... Чемпион Румынии и Европы, - мечтательно повторил префект и облизнул пересохшие губы. - Подумайте, какое поле деятельности открылось бы вам! Особняк в Бухаресте, жалование в конце концов, высокая пенсия к старости. А сейчас вы кто? Ни советский, ни

румын...

Заикин неожиданно встал, опираясь на трость. За ним, недоумевая, поднялся префект.

- Я русский. И отечества своего не променяю ни на какие почести. Ивана Заикина еще никто никогда не покупал, домнуде префект. Все! Ла реведере, одним словом.

Заикин шагнул к двери, палкой распахнул ее и встал у порога - хмурый, грозный, гордый.

- Ла реведере, - буркнул префект и, пятясь, выкатился на улицу.

Слышно было, как застоявшиеся лошади нетерпеливо били копытами о булыжник. Потом, рассыпая дробь, зацокали подковы, забренчали крылья пролетки.

"Боров!" - выругался про себя Заикин и в сердцах с силой захлопнул дверь.

Цепи эмигранта

"Посадили меня, значит, румыны на цепь, точь-в-точь, как цыган медведя, и держат. Сделай милость - разъезжай: в Яссы, в Галац, в Ганчешты, в Плоешты... А за границу носа не суй, - писал Заикин в казачий город Ейск, где жил Иван Поддубный. - Завидую я тебе, Ваня. Слышал я: советская власть на спорт денег не жалеет, государственным то дело считает. А у нас тут всяк по себе и в разные стороны".

Да, нелегкими были для Заикина цепи эмигранта. А силы было еще вдоволь. Сила требовала отдачи, искала точки приложения. И точка приложения нашлась. Нашлась неожиданно-негаданно и в неожиданном месте.

Мальчишки. В том возрасте, когда где-то перед самым их носом проходит грань между детством и отрочеством. Они неслышно переступают эту грань. И вот уже вчерашний мальчишка, который еще не умел как следует чулки натянуть на ноги, стал сегодня подростком, заглядывающим на барышень.

Это они, почтительно переминающиеся с ноги на ногу перед таким знаменитым - да, по-настоящему знаменитым человеком, как Заикин (в их глазах только силач был достоин величайшего уважения: ни ум, ни богатство, ни знатность ничего не стоили для мальчишек), боящиеся вставить слово невпопад, - станут точкой приложения сил, станут сменой, учениками.

Открыть спортивную, борцовскую школу? Нет, Иван Михайлович и не помышлял об этом. Само слово "школа" тотчас отпугнет пострелов. Да и кто будет финансировать эту школу, кто оснастит ее оборудованием? Стареющий борец, экс-чемпион мира? Ему, Заикину, скоро придется самому закладывать кое-какие свои реликвии: сбережения таяли, словно снег вешним днем.

...Их было много вокруг. Уткнув любопытные носы в щели забора, они горящими от возбуждения глазами глядели, как Заикин, словно девчонка, резво прыгал через веревочку-скакалку, как он

жонглировал массивными чугунными гирями, проделывая сложный каскад упражнений.

Скакалка тотчас приобрела вес в их глазах. А вот гири... Как быть с гирями? В дело пошли кирпичи и камни.

Лазание по канату? А на что, в конце концов, проволочные расчалки, удерживающие телеграфные столбы?

Мальчишки были находчивы, изобретательны. И вскоре каждому спортивному снаряду была найдена замена.

Трудно сказать, кто был коноводом среди этих "последователей" Заикина. То ли сын борца Костя, то ли Валька Здановский - рослый, ловкий и ладно сбитый мальчуган.

Заикин из-под бровей наблюдал за ребячьей суетой, за их соперничеством. Он вмешивался, когда -нужно было повернуть бурливые мальчишеские страсти в нужную сторону. И с нескрываемым удовольствием наблюдал, как впитывается каждое его слово, будто вода иссохшей землей, как бессознательно копируется каждый его жест.

Он стал исподволь заниматься с ними. Не корысти ради и не для развлечения. Заикин мыслил о судьбах борьбы, спорта, ему хотелось воспитать смену сильных и ловких - новых Заикиных, Поддубных, Вахтуровых.

- Ты, сынок, не думай, что спорт - это развлечение. Это гуляки и лодыри так думают. Спорт - это труд. Упорный, настойчивый. И чем больше каждый из вас будет трудиться, тем лучших результатов достигнет.

Босоногая команда Заикина слушала его, раскрыв рты. И оттого, что Иван Михайлович говорил серьезно, как равный с равными, оттого, что вся эта беседа скорее походила на урок, ребята старались не забыть ни одного слова из наставлений. Мысль о том, что они - ученики знаменитого Заикина, радовала и волновала.

И мальчишки из кожи вон лезли, чтобы отличиться, чтобы заслужить похвалу своего наставника. Они жонглировали кирпичами днем и вечером, натерли до блеска проволочные расчалки всех окрестных столбов, начали выворачивать булыжники

мостовой - на "гантели".

Вскоре команда с Каменоломной стала грозой всех окрестных мальчишек. С разбойным криком ватага носилась по улицам - по Бальшевской и Азиатской, Минковской и Антоновской.

Это была ватага рослых и крепких мальчуганов, постоянно соперничавших между собой и цепко державшихся друг за друга. Избыток сил бродил у них в крови, заставляя озорничать.

Доброе семя, которое начал возвращать Иван Михайлович, неожиданно стало давать чересчур буйные ростки: "заикинцы" забирались в сады и производили там настоящие опустошения.

Узнав об этом, Заикин поманил к себе однажды Вальку Здановского, одного из коноводов ватаги и Самого способного.

- Поди-ка сюда. Вы что это моим именем безобразия свои прикрываете? Я разве вас такому учу?

Подросток молчал, потупясь. Уши его побагровели, плечи опустились.

- Заруби себе на носу и дружкам своим передай: услышу, что напакостили, - знаться с вами не буду. Понял?

- Понял, - упавшим голосом произнес Валька. "Волки" постепенно превращались в "овец". Вся их энергия, бившая через край, уходила теперь на борьбу. Боролись "по-классному", на поясах и по-японски. То и дело слышалось: "Переводи, переводи его. Пусть смостит. Давай двойным нельсоном... суплессом..."

Пара боролась, а остальные кричали. Они были зрителями и судьями. И, пожалуй, более темпераментных зрителей и судей не было еще на свете. Иногда на эти соревнования приходил Иван Михайлович. Тотчас же кто-нибудь из ребят срывался за табуреткой да. покрепче: не всякая выдержит.

- Посудите, Иван Михайлович! - радовались "заикинцы".

Заикин судил строго. То и дело, останавливал борьбу, корил нарушителей правил.

- Это я сейчас тебе по-дружески, а судья - тот просто снимет тебя с ковра. Ты борись так, чтобы правила вошли в плоть и кровь, чтобы не вспоминать о них, а все-таки не нарушать.

Не скоро поднималась густая трава на треугольнике никем не сеянного и не ухоженного сквера, трава, служившая "заикинцам" борцовским ковром. Зато быстро сходили синяки и шишки, полученные в почетных схватках. Это даже огорчало ребят: синяки были для них словно знаками борцовской доблести, медалями, завоеванными в сражениях.

Так росло племя "заикинцев" - тоже по существу никем не ухоженное.

- Пусть растут сорняками - крепче да стойче будут, - приговаривал Заикин. - Ни жара, ни холод их не возьмут.

И "сорняки" незаметно как-то поднялись и, как в андерсеновской сказке, в один прекрасный день никто их не узнал.

Валентин Здановский, Владек Герц, Алексей Бусляков и другие мальчишки, на которых прежде никто и не смотрел всерьез, над увлечением которых подсмеивались, стали настоящими атлетами. В восемнадцать лет Валентин Здановский весил 116 килограммов при росте 185 сантиметров и окружности бицепса 49 сантиметров.

И тогда Заикин, словно бы прозрев, взялся за них засуча рукава. Он терпеливо ждал этого дня, дня, когда можно будет сколотить свой чемпионат, когда его заикинцы будут класть на лопатки знаменитых борцов.

Такой день наступил. Рослые, крепко сбитые, владеющие приемами, они могли сходу войти в водоворот турнирной борьбы. За них можно было не бояться.

"Ай орлы, ай вымахали!" - довольно повторял Заикин, словно впервые увидев своих "орлов". - Теперь уж мы покатым, покажем, каков дух заикинский, чего он стоит".

Иван Михайлович снова стал энергичен, подвижен. Дела домашние были отодвинуты в сторону. Он просто забыл о них. Забыл с удовольствием. И весь отдался заботам о труппе.

Мало-помалу собирался инвентарь - нехитрое имущество передвижного цирка. Он, конечно, был не таким, как нынешние шапито - с гигантским брезентовым куполом и ярусами скамей, вмещающих полторы-две тысячи зрителей, со специально

оборудованными автомашинами и прицепами, в которых живут артисты.

Вместо брезентового купола Заикин приобрел рондо - штуку дешевого полотна двухметровой ширины. В землю по окружности вбивались высокие колья. Рондо разматывалось, образуя полотняный загон с проходом в одном месте. Кое-где колья укреплялись расчалками для прочности.

Внутри раскладывался ковер, стояли простые некрашенные скамьи. Таков был весь цирк.

В непроницаемо темные южные вечера цирк освещался "усовершенствованными" керосиновыми лампами. Они носили пышное название "петромакс", что должно было, по мысли создателя этих ламп, подчеркнуть их "полную отдачу": слово это было составлено из начальных слогов слов - петроль (керосин) и максимум.

...В один из дней весны 1929 года на улицах Орgeeва запестрели афиши. Огромные буквы кричали:

"Иван Заикин - волжский богатырь".

Волжский богатырь - от этого титула Заикин не отказывался всю свою жизнь, хотя присваивались ему титулы и почетнее. Но с этим он не расставался, - а здесь, в Бессарабии, нарочито подчеркивал его: в нем заключалась нерушимая связь с родиной.

"Заикин едет!" Быстроногие мальчишки разнесли эту весть по всему городу, куда не достигли афиши. Они действовали, впрочем, вернее и надежнее афиш: грамоте в этом небольшом бессарабском городке был учен далеко не каждый. На рассвете к "пригороду" Орgeeва - сельцу Слободке - подкатила тележная процессия: двенадцать подвод. И все они были нагружены цирковым скарбом. Сами участники чемпионата брели, за ними, словно почетный эскорт или похоронная процессия.

Пешее сопровождение телег входило в комплекс тренировочных занятий "заикинцев". Этот пятидесятиверстный "марафон", да еще ночью, поначалу дался нелегко будущим борцам и чемпионам. Кое-кто из них подумывал уже о том, как бы унести ноги из вновь

образованного чемпионата.

Но молодость есть молодость. Проспав несколько часов, юноши снова чувствовали себя бодро. Усталости как не бывало.

Иван Михайлович добродушно посмеивался:

- Ну как, орлы, покрепели крылья-то? Бег на дальние дистанции - лучшая система тренировки для борца, - уже серьезно продолжал он. - Получает развитие вся мускулатура, легкие, выковывается выносливость. А выносливость, способность долго выдерживать сильное физическое напряжение - важнейшее качество для атлета.

Я в свое время тоже прошел добрую школу выносливости - тянул бурлацкую лямку на Волге. За лето не одну сотню верст, бывало, отмеривали по берегу...

- А гири? - робко вставил Владек Герц. - Разве занятия гирями не важны для борца? Заикин пренебрежительно махнул рукой.

- Что гири?.. Работая ими, приучаешь себя к недолгой загрузке мышц, односторонне развиваешься. Гиревик, он полчаса поворочает штангою, и дух вон. Врачи, вон, говорят, что у гиревиков-то и мускульные волокна по-особому устроены: короткие они.

За полотняной оградой толпились любопытные. То и дело облупленные веснушчатые мальчишечьи носы, чубатые и стриженные головы и горящие восторгом глаза показывались в самых неожиданных местах. Мальчишки карабкались по шестам, подлезали под полотно, диковинными коричневыми плодами висли на деревьях.

Заикин поднялся и добродушно крикнул:

- Геть, голопузые! Не то отведаете палки!

Оставались самые смелые и сообразительные. Те, которые уловили в тоне знаменитого силача оттенок добродушия.

- Ну вот, первые зрители прибыли. Теперь они до вечера отсюда не слезут. Как тараканы, во все щели набились, - засмеялся Заикин. И, немного помолчав, добавил: - Пусть смотрят. Не помещичьи, небось, дети, мало радости жизнь-то им дарит. В малолетстве я и сам радости не знал. Наезжали в наше Талызино разные там

фокусники, цыгане медведей водили. Но нас, ребяташек, не больно-то баловали, смотреть не пускали. За смотрение деньги надобно было платить, а отколе их взять?

Говоря, Заикин шагал по кругу, поочередно пробуя надежность кольев и распорок.

- Не то сомнут, - пояснил он. - Однажды при мне балаган в Саратове рухнул. Мы такого страху натерпелись тогда, помню, описать трудно. Антрепренер, тот с перепугу просто сбежал - совсем, бедняга, голову потерял от визга и крика. А на поверку оказалось, что всего-то двух теток и мальчугана крепко зашибло - в больницу свезли и пришлось им отступного дать. Остальные же все больше от испуга орали. С тех пор я взял за правило - самолично проверять все.

- Да, народу нынче будет - сила, - подтвердил единственный участник труппы, не имевший отношения к борьбе, фокусник Костаке Русу. Небольшой юркий человечек, все время находившийся в движении, он выступал в дивертисментах, смешал и занимая публику. Казалось, кто-то вставил в него пружину, которая так никогда и не раскрутится. - Билеты уже, кажется, все проданы.

- Самая малость осталась, - подтвердил вынырнувший из будки Иван Яковлевич Свободин - администратор труппы, тихий человек, фанатично преданный Заикину и вечно следовавший за ним, как тень.

- А ну, костоломы, - улыбнулся Иван. Михайлович, - помните на радостях. Сегодня борьба должна быть чистой, на совесть. А ну-ка, повторите прежде мои заповеди. Что есть арена?

- Алтарь, - хором выкрикнули борцы, стараясь сдержать улыбку.

- Как надобно бороться?

- Со всем старанием, не щадя живота. - Что есть позор для борца?

- Показуха.

- То-то, - ухмыльнулся Заикин. - Перед каждым представлением буду вас экзаменовать, черти полосатые.

На импровизированной арене тем временем кончили засыпать

опилки. Рабочий разровнял их граблями, поверх настелил брезент. Валентин Здановский и Алексей Бусяков вышли разминаться. Ждали своей очереди и остальные пары, исполнявшие на этот раз роль судей и арбитров.

Иван Михайлович отправился проверять свой реквизит.

- Ну, как нынче, без обмана? - спросил он Свободина.

- Честнейшим образом, Иван Михайлович, - заверил его тот.

- Смотри у меня: публике буду показывать.

Свободин, желавший облегчить работу Заикина, нередко подкладывал ему сухие хрупкие бревна, которые Заикин ломал как соломинки, а потом гневался. Иван Михайлович, не терпевший никакого обмана даже в самом малом, ругательски ругал Свободина, грозил ему отлучением от труппы и прочими карами. Но тот продолжал свое - вольно или невольно, сетуя, что иных столбов не нашлось. Столбы на этот раз были что надо. Глядя на них, Заикин на мгновение даже засомневался, по силам ли они ему.

- А тавровка где? - спросил он Свободина.

- В кузне, Иван Михайлович. Выпрямят и принесут.

Осмотрев реквизит, Заикин вышел на улицу. Мальчишки торчали вокруг, будто приклеенные. Увидя атлета, они загалдели и, сбившись в кучу, побежали за ним.

День клонился к закату. На пыльных улицах маленького городка стало многолюдно. Молодежь прохаживалась табунами, люди постарше степенно восседали на скамейках подле домов. Возле них на земле густел пестрый веер подсолнечной шелухи. По бульжнику гроыхали крестьянские телеги. Прогнали стадо, редевшее на глазах: то одна корова, то другая, деловито боднув калитку, исчезала во дворе. В воздухе стоял тот неуловимый запах свежего навоза, парящей земли и цветения, который был так знаком Заикину с детства.

"Нешто это город? - думал Иван Михайлович. - Чистая деревня. И дух точно такой же".

Заикин вспомнил родное Галызино и на мгновение загрустил. Как там теперь? Кто из родных жив, помнят ли о нем - отрезанном

ломте родной земли? Тоска по ней захлестнула его. "Хоть бы на день, хоть на час взглянуть на огненные волжские закаты, на неоглядные дали, что открываются с круч, на деловитую толчею парашодов, буксиров, барж и плотов, бороздящих Волгу". Какие-то люди уважительно здоровались с ним, снимая шляпы, картузы и фуражки, люди большей частью незнакомые, но тем не менее знавшие Заикина - бессарабскую знаменитость. А он все шагал и шагал вперед, не поднимая головы, думая о своем, о самом заветном - о Родине.

Неожиданно кто-то взял Заикина за локоть.

- А? Что надобно? - встряхнулся он.

- Я это, Иван Михайлович, не узнали?

- Иван Яковлевич! Да ты, никак, за мной следишь?

Свободин захихикал.

- Помилуйте. Да за вами следить не надо: любого встречного спроси, куда Заикин пошел, - сейчас скажет.

- Зачем понадобился?

- Через полчаса начинаем, Иван Михайлович. Заикин взглянул на часы. До начала представления действительно оставалось мало времени.

- Полный аншлаг, - добавил Свободин. - Стоять просятся. Пустить?

- Пусти уж. Чай, воздуха не замутят. Готовы все?

- В аккурате.

- Ребята дрова рубили?

- Как же?

- Ну тогда и начинать можно.

Полотно рондо колыхалось, напоминая Заикину сеть, набитую рыбой. Мальчишки гроздями висели на деревьях. Пройдя в "артистическую" - крашеную фанерную будку, Заикин услышал голос Свободина:

- Чемпионат под руководством и при участии экс-чемпиона мира по классической борьбе, волжского богатыря и авиатора Ивана Михайловича Заикина...

Привычного туша не последовало: оркестру надо платить, а денег не было. Незаполненная пауза была по барабанным перепонкам.

Два гиганта

В начале 1930 года Кишинев жил ожиданием приезда Шаляпина. Портрет Шаляпина глядел с круглых афишных тумб, с заборов, со страниц газет.

О Шаляпине говорили взхлеб - даже те, кто смутно представлял себе, каков на самом деле Шаляпин.

- Командор ордена Почетного легиона. Сам французский президент на грудь ему повесил...

- Русский царь его боялся...

- Пел, говорят, он однажды в Берлине, так в зале стекла повывлетали...

- Уж больно дороги билеты. Да и те расхватили за какой-нибудь час. Сумасшествие...

- А ведь сын простого сапожника из-под Казани. С высокими особами ручкается...

- Как бы попасть? Ума не приложу. Разве что самому Шаляпину в ноги броситься...

- Так он тебе и расчувствуется. Ему не такие в ноги бросались - устоял...

- Да и не приедет он вовсе. Нужен ему Кишинев как собаке пятая нога. Париж, Берлин, Рим, Нью-Йорк - это пожалуйста...

- Обязательно приедет...

А Шаляпин все не ехал. И сомневающихся становилось все больше и больше. Билеты, вернее "временные квитанции", переходили из рук в руки, постепенно вырастая в цене, хотя никто толком не знал - приедет ли в самом деле Шаляпин или, поддавшись очередному своему капризу, ринется куда-нибудь еще. "Дирекция театра "Одеон", - писала газета "Голос Бессарабии", - должна дать ясный и категоричный ответ... К нам поступают запросы из провинции, внесены ли деньги в банк и в какой именно.

История с концертом Шаляпина пока остается достаточно не выясненной. "Наша речь" категорически утверждает, что в данном

случае мы имеем дело с аферой". Газеты, стараясь переплюнуть друг друга, оседлали шаляпинскую тему и не унимались. Фельетонист "Голоса Бессарабии" смаковал будущий гонорар артиста: за один концерт 432 тысячи лей, кроме проездных!

Выходило, впрочем, что слухи о приезде Шаляпина - не газетная утка и не афера дирекции театра "Одеон". Последняя, торжествуя, печатала одно объявление за другим: "Концерт Шаляпина состоится 3 февраля, дирекция просит обменивать временные квитанции на билеты".

В бухарестских газетах фамилия Шаляпина набиралась самым крупным шрифтом: Шаляпин настроен благодушно, ему нравится прием, он будет петь два спектакля-"Фауст" и "Борис Годунов"...

"Миллион двести тысяч лей за два спектакля!" - захлебывались газеты. "Процесс над Шаляпиным" - еще одна сенсация. Импрессарио Фауст Мор возбудил против артиста дело, требуя выплатить ему неустойку в полмиллиона лей за то, что контракт на выступления был заключен не с ним, а с его соперником. Присяжным был известный писатель Виктор Ефтимiu.

Вокруг великого артиста мошкаррой жужжали охотники до наживы. "Секвестр на багаж Шаляпина, - читали Ивану Михайловичу. - Фискальные агенты ворвались в отель и предъявили Шаляпину обвинение в сокрытии доходов".

"Величайший артист нашего времени, - восторженно писали рецензенты. - Время не властно над его голосом". Дирекция бухарестской оперы обвинялась в том, что в паре с Шаляпиным пела Маргариту слабая певица Лаура Коханская...

Словом, ажиотаж царил полнейший. Шаляпин оттеснил все другие события. Репортеры и почитатели следовали за артистом, ловя каждое его слово, каждый жест. И Зайкин чувствовал себя в некотором роде причастным к славе своего знаменитого земляка.

Встречались они прежде часто - два гиганта, две "волжские сваи", хлебнувшие лиха в молодости. И на Волге, и в Воронеже у Анатолия Леонидовича Дурова, их общего друга, и в Париже.

В памяти всплыла одна из последних встреч, вместе с Куприным.

Шаляпин, не сводя восхищенных глаз с Заикина, для чего-то ощупал его бицепсы и вдруг запел:

*Э-э-х ты, Ва-а-нь-ка, Пра-зу-дала го-ло-ва,
да...*

*Разудалая головушка, Ванька,
твоя...*

Бархатный голос, казалось, принадлежал не человеку, а диковинному инструменту удивительно теплой человеческой окраски.

- Каков Федор? - улыбнулся Куприн. - Тоже вот волжский богатырь.

И Куприн отошел, любуясь двумя гигантами, которых добротню, на совесть сработала русская земля.

Расставаясь, они долго тузили друг друга, добродушно похихатывая. Весь этот вечер разговор шел про памятные обоим волжские места. Оба исходили в юности берега великой реки от Нижнего почитай до самой Астрахани, перебиваясь с хлеба на квас, и воспоминания об этих днях особенно сблизили их.

Куприн слушал, впитывал, лишь изредка вставляя односложные реплики. Его скуластое монгольское лицо лучилось удовольствием.

- Ты ведь, Саша, тоже вроде бы как наш, казанский татарин, - поддразнивал его Шаляпин. - Шурум-бурум торгуешь? Торгуешь, да? - И заливисто, по-детски смеялся.

- А он, Иван, тоже талант в своем роде, - кивнул Шаляпин в сторону молчавшего Заикина. - Эвон как богата Россия талантами. Сколько их царями да боярами загублено... У нас прежде были в цене те, кто деньгу наживать умел. Пришло ныне время иное, мужицкое.

- Не пришло, а придет, - поправил его Куприн. - Вот в это я верю. Когда гляжу на вас - верю в приход иных времен, - убежденно повторил он.

Думая о встрече с Шаляпиным, перебирая в памяти подробности

их знакомства, Иван Михайлович как-то особенно остро ощутил вдруг оторванность от родной земли. Перед ним словно открылась зияющая пустота.

"Знает ли он, что я тут? - беспокойно думал Заикин. - Небось, из газет вычитал. Да нет, поиздержалась слава моя, не пишут обо мне газеты", - уныло вспомнил он.

Газеты и впрямь редко писали о Заикине, а если и писали, то только местные, ходившие не дальше Бухареста. Они захлебывались от восторга лишь тогда, когда случался какой-либо "инцидент". Каждый скандал смаковался ими всегда со всех сторон и с большим знанием дела.

О том, что Шаляпин уже в городе, Иван Михайлович узнал по "живому телеграфу".

- Шаляпин приехал! - горланили мальчишки на улице, будто зная, что Заикин ждет этой вести.

- Слыхал? - просунулась в дверь голова жены. - Приехал!

Панкин долго шагал по комнате, не зная, что предпринять. Под ногами стонали половицы, и звук этот раздражал его.

Решившись, он постучал в дверь, крикнул:

- Костюм подай!

Переодевшись с неожиданным проворством, он оглядел себя в зеркало. Пришлось отойти - зеркало не вмещало погрузневшей, но все еще мощной фигуры. Заикин вышел на улицу и зашагал по Александровской, ловя на себе любопытные взгляды, отвечая на приветствия знакомых.

На Михайловской у театра "Одеон" было черным-черно. Толпа запрудила улицу. Полицейские каменными изваяниями застыли у входа. Усатый шеф, сыпуча глаза и побагровев от натуги, орал в толпу:

- Господа, прошу расходиться! Шаляпина в театре нет. Можете мне поверить...

Могучий торс Заикина ледоколом врзался в толпу. Толпа раздалась, пропуская атлета.

Узнав Заикина, шеф кивнул ему, как старому знакомому, и,

вытащив огромный клетчатый платок, стал вытирать шею.

- Что, жарко, домнудле шеф? - добродушно усмехнулся Заикин.

- Быдло! - беззлобно ругнулся шеф. - Им толкуешь, а они ни с места. Я вам, Иван Михайлович, по чести скажу: нет их здесь - Федора Ивановича. Отдыхают они. В отеле. И до завтра не ведено к ним никого пускать. Даже из газет. В Бухаресте, слышь, какие то неприятности вышли. Не в себе, говорят, Шаляпин, - доверительно закончил шеф.

- Слышал, читал. Как же - липнут к нему, как мухи на мед. Деньги-лучшая приманка, - проворчал Заикин. - Был бы я при нем, - понаделал, бы лепешек из этих мух.

Был субботний день. Концерт Шаляпина приходился на понедельник. "Пойду завтра", - решил Иван Михайлович и не спеша зашагал по Александровской к дому, раскланиваясь почти с каждым . встречным. "Как заводной слон", - усмехнувшись, подумал он.

Развернув воскресную газету, Заикин, как, впрочем, и ожидал, нашел в ней интервью с Шаляпиным.

"Пролезли все-таки, хоть и не ведено было пускать", - с восхищением подумал он о пронырливых газетчиках.

На вопрос интервьюера, как проводил он время в Бухаресте, последовало неожиданное: "Отдыхал на скамье подсудимых". О Кишиневе Шаляпин отозвался одобрително: тихий город, такой же, как тридцать лет назад, когда он впервые побывал здесь; извозчики, живо напомнившие ему родные места. Впервые за много лет ел настоящие щи. Автор заметки взхлеб описывал прогулку Шаляпина по городу, толпу, следовавшую за великим артистом, эпизод у памятника Пушкину: Шаляпин снял шляпу и поклонился опекушинскому изваянию. "Эх, Федор Иванович, Федор Иванович, не по тебе все эти заграницы", - подумал Заикин, аккуратно складывая газету.

...Зал "Одеона" был переполнен. Нет, переполнен, пожалуй, не то слово. Он был битком набит. Дирекций выпустила в продажу бессчетное число входных билетов. И каждый свободный метр пола

брался с бою. Люди сидели и стояли, стиснутые со всех сторон.

Пробиться к театру тоже было подвигом. Плотная толпа загрохотала улицу. Усиленным нарядам полиции и жандармерии никак не удавалось отгеснить от входа жаждущих попасть на концерт.

Потеряв терпение и надорвав голос, жандармский капитан отдал короткий приказ. И его подначальные, примкнув штыки, решительно пошли на толпу, все напиравшую и напиравшую.

Толпа чуть подалась назад. Открылся небольшой пяточок перед входом. Но теперь уже люди с билетами не могли пробраться сквозь спрессованную массу тел. "Пропустите же! Да пропустите. Мы опаздываем!" - надрывались счастливые обладатели билетов.

Люди злорадно посмеивались: "Ступайте, сделайте милость. Кто вас держит!"

- А может, уступите билетик? А то шубу порвете.

- Ступайте в обход, по крышам! - хихикали шутники.

Заикин не уместился в отведенном ему узком кресле. Это вызвало оживление. Выручил подросевший капельдинер - принес стул.

- А выдержит? - недоверчиво спросил Заикин.

- Можете не сомневаться, сам выбирал, - заверил его капельдинер.

- Как раз на вашу комплекцию. Для грузных людей держим...

...Шаляпин вышел стремительно, словно наступая на кого-то невидимого. И резко остановился у черного зеркала рояля, положив на него большую, крепкую, вовсе не артистическую, а рабочую руку, руку грузчика, молотобойца. Зал застонал. Заикин подался вперед. А время, казалось, сделало в это мгновение рывок назад, в молодость.

На сцене стоял некоронованный владыка, гордо откинув голову. Время обострило черты шаляпинского лица. Но все-таки он был все такой же, каким впервые сфотографировала его память два десятилетия назад.

Шаляпин поднял руку, и зал умолк - мгновенно, словно пораженный внезапной немотой.

Все тотчас отодвинулось куда-то. Даже звуки рояля утонули в

нервной, наэлектризованной тишине. Над всем властвовал голос - трубный и бархатистый, ликующе зовущий и искушающе нежный:

*Эй ты, ноченька,
Ночка темная,
Ночь осенняя...*

Нет, Иван Заикин, мужицкая кость, не был сентиментален. Но тут у него - болью неведомой, горькой и сладкой в одно и то же время - сдавило грудь. К горлу подкатил удушливый ком.

Он скосил глаза. Соседка, дебелая дама лет сорока, прижимала к глазам платок. Седой мужчина, дотоле державшийся прямо и строго, уронил голову на руки...

А что в ней, в этой старой русской песне? Кого оплакивает она? Сиротскую ли долю, или осень человеческую - закатную пору жизни, пору увядания?

Песня будила воспоминания о Родине, о тоскливых деревенских ночах, заунывных ночах русской осели, исполненных грусти и полудикого очарования. То ли дождь глухо барабанит по крыше, то ли с едва слышным шуршанием опадают листья с берез, и это шуршание, усиленное гулкой небесной синью, особой чистотой и прозрачностью воздуха, с непонятною силой отдается в ушах...

*С кем-то я ноченьку,
С кем осеннюю,
С кем тоскливую
Ох, коротать буду...*

Слова были бесхитростны. Казалось, нет в них ничего такого, отчего может так защемить сердце.

Заикин смотрел на певца и не понимал: туманная ли пелена застила ему глаза или сам Шаляпин, минуту назад казавшийся богатырем, стал, ровно, меньше. Теперь он был мучительно похож на кого-то очень знакомого, чей образ смутно хранился в самых

дальних закоулках памяти.

И нежданно Иван Михайлович вспомнил. Вспомнил талызинского певца Митрошку - неказистого мужичонку со свалывшейся бородой и отчего-то всегда красными глазами.

Митрошка был деревенским "артистом". У него до старости сохранился голос редкой задушевности и чистоты. Он был непременным участником всех нехитрых событий деревенской жизни: свадеб, крестин, похорон. Неказистый, неряшливый, он преображался, когда затягивал песню. Не было у него ни семьи, ни двора, но сердобольные бабы пеклись о нем, словно о родном человеке.

Давным-давно, когда Митрошка был еще молод, заезжал в Талызино какой-то барин. Послушал, подивился и обещал похлопотать о нем. Да так и сгинул.

...Шалапин пел, а Иван Михайлович вспоминал Митрошкины песни, хватавшие за душу, очищавшие и возвышавшие закаменевших в нужде и горе талызинских мужиков.

Шалапин пел серенаду Мефистофеля. И на сцену мгновенно явился сам дьявол во плоти и крови, а от злобного хохота холодом подирало по коже. Он был то свирепым варяжским гостем, то благородным неудачником Дон Кихотом. За бражником и удалцом князем Галицким неожиданно открывался мятущийся царь Борис или величавый Пимен...

- "Дубинушку"! - неожиданно раздался чей-то выкрик, когда концерт подходил к концу.

- "Дубинушку"! - с воодушевлением поддержал зал.

Шалапин стоял молча, скрестив на груди руки, словно прислушиваясь к чему-то. Скупая понимающая усмешка тронула его губы. Он обернулся к аккомпаниатору и кивнул ему.

...Голос певца постепенно креп, наливаясь силой. Казалось, он вот-вот прорвет своды зала, с грохотом обрушив их на головы людей.

*И настала пора,
И поднялся народ...*

- набатом звучало в зале...

Разогнул он согбенную спину...

Заикину стало страшно. Вот сейчас, думалось, рухнут своды от этого страшного напряжения, клокодавшего в горле певца, от этой нечеловеческой ярости, вибрировавшей в воздухе и насытившей его электричеством невиданной силы.

*...И стряхнув с плеч долой
Тяжкий гнет вековой,
На врагов своих поднял
дубину!*

- торжествующе загремело, загрохотало в зале органом невиданной мощи. И тотчас же отдельные голоса, пока еще робко, неуверенно, но постепенно все стройнее, все воодушевленное подхватили припев:

*Эй, дубинушка,
ухнем!..*

Заикин видел, как съежились в своих креслах сановные посетители первого ряда, как пожал плечами шеф сигуранцы, как побагровел примарь...

А зал расправлял плечи. Зал стал бунтарем, быть может, на какие-то минуты, правда. Зал ждал мгновения, когда можно будет подхватить припев, и это чувствовалось по тому, как нетерпеливо подались вперед люди.

И Заикин почувствовал то, что доселе было ему непонятно:

могучую силу искусства, призывную, торжествующую, зовущую вперед силу, перед которой меркла любая другая...

Он вытащил платок и приложил его ко лбу, на котором обильно выступила испарина. А зал грохотал: восторженные крики, рукоплескания накатывали прибоем, сливаясь в оглушительный рев.

Иван Михайлович кричал вместе со всеми, топал ногами, отбил себе ладони, безраздельно захваченный порывом людского восторга, преклонения перед гением искусства.

Откуда-то внесли корзины с живыми цветами, казавшимися в этот февральский день особенно хрупкими, и Шаляпин, широко улыбаясь, благодарил и жал руки онемевшим от благоговения дарительницам.

Заикин сорвался с места и, волоча затекшую ногу, поспешил за кулисы. В тесных, плохо освещенных переходах толпились люди. Они блокировали уборную артиста, не обращая внимания на упрашивания служителей.

- Идет, идет! - послышалось в дальнем конце, у выхода на сцену.

Шаляпин, оживленный, улыбающийся, шел по коридору, окруженный тесной толпой почитателей, возвышаясь над всеми. Рядом с ним семенил директор театра и вышагивал желчный примарь.

Завидев массивную фигуру Заикина, Федор Иванович раздвинул руками людей, его окружавших, и подошел к нему.

- Ну, здравствуй, Иван Михайлов, вот и свиделись, наконец. - Заклучив его в объятия, Шаляпин трижды, по-русски, расцеловался с ним.

От волнения Заикин пробормотал что-то несвязное, что должно было означать, что и он рад этой встрече. А Шаляпин, повернувшись спиной к двери уборной, рокотал:

- Сердечно тронут, господа, горячим приемом. Я не был здесь более тридцати лет и сейчас с наслаждением, таким же, как и в первый раз, пел кишиневцам. Тогда я пережил здесь немало радостных минут, и сегодняшний мой концерт оживил их в памяти.

Федор Иванович поклонился, и люди в коридоре захлопали.

- Прошу меня извинить, - и Шаляпин показал на горло. - Устал, трудно говорить. Надеюсь поутру увидеться с вами.

Наклонившись, Шаляпин скользнул в уборную. Дверь за ним захлопнулась. Заикин похолодел. "Неужто забыл про меня?" Но тут дверь приоткрылась, и чей-то палец осторожно поманил его. Иван Михайлович оглянулся - коридор был пуст - шагнул в дверь.

- Садись, Иван Михайлов, сейчас я буду готов, - деловым тоном произнес Федор Иванович. - Ты ведь вроде свояка мне. Помню, газеты писали: "Заикин - это Шаляпин русских мускулов..." Твоих-то" мускулов мне ох как недостает.

Лицо певца, поразившее его недавно молодостью, удивительно живой гаммой чувств, теперь резко осунулось. Сеть морщин заплела его, а у губ легли глубокие складки, которых, как показалось, прежде и вовсе не было.

Словно угадав его мысли, Шаляпин сказал со вздохом.

- Тяжка, брат, десница грозного судии. Старею. И пою плохо. Молчи, не перебивай. Мне каждый концерт, каждая спетая партия года жизни стоят. Да, брат, чувствую: изнасился вовсе.

"Неужто на комплимент напрашивается?" - подумал Заикин, но, внимательно взглянув на того, кто еще несколько минут назад смеялся и шутил, остро ощутил правду шаляпинских слов. Он понял, что и эта непринужденность на сцене, и эта живость в общении с почитателями - результат предельной мобилизованности, строжайшей подтянутости артиста. Теперь Федор Иванович перестал играть: Шаляпин - певец, гений перевоплощения - стал просто человеком, бесконечно уставшим от устремленных на него глаз.

Уловив на себе внимательный, оценивающий взгляд Заикина, Федор Иванович усмехнулся:

- Думаешь, небось, перегнул я? Кокетничаю? - я Шаляпин шутя погрозил пальцем. - Не отнекивайся. Я, брат, мысли читаю на расстоянии, да. Я психолог, как и надлежит быть артисту. В душу тотчас залезаю и человека оцениваю так, как близкие его не знают.

Горькая усмешка не сходила с его губ. Шляпин тяжело поднялся, последний раз оглядел себя в зеркале, нахлобучил шляпу и коротко бросил:

- Пошли, Иван Михайлов, поужинаем. В ресторане и договорим.

- Может, извозчика возьмем, - предложил Шляпин, когда они вышли из театрального подъезда на слабо освещенную улицу. - А то темень у вас тут кромешная, словно в деревне.

- Деревня и есть, - буркнул Заикин. - Особливо зимой: чуть смеркнется - ни души на улице. Фонарей мало, а внизу, где я живу, и вовсе нет. По собачьему бреху ходим.

- Это как же? - полюбопытствовал Шляпин.

- А так. Каждый на голос своей собаки правит- вот и весь ориентир.

Шляпин раскатисто захохотал. Улыбнулся и Замкни.

- Градоправители наши денег на освещение жалеют, сказывают: казна пуста. Будет пуста, ежели вор на воре сидит, вором погоняет.

- А все-таки по душе мне Кишинев, - протянул Шляпин. - Что там ни говори, а город российский. На улицах русский говор, извозчики опять же... Так что, возьмем извозчика?

- Да зачем тут извозчик, когда все рядом, - возразил Иван Михайлович.

Они неторопливо шли по скупо освещенной Александровской. Редкие прохожие почтительно уступали им дорогу и долго глядели вслед.

- Почти тридцать лет назад был я здесь. Гляжу - мало что изменилось. Все те же дома, кажется, и люди те же, - задумчиво говорил Шляпин. - Недавно вот встретился в Вене с одним актером. Европейская знаменитость - Сандро Моисеи. Слышал, небось?

Иван Михайлович отрицательно помотал головой.

- А что, этот Сандро здесь бывал?

- Да нет, здесь ему бывать, по-моему, не доводилось. Он все в больших столицах выступает. Просто разговорились мы об искусстве, и я вспомнил Кишинев...

Они вошли в вестибюль ресторана. После уличного полумрака свет резал глаза. Было шумно, накурено. Из зала доносились звуки румынского оркестра. Скрипки жаловались, и от жалобы этой у Заикина снова больно защемило сердце.

- Славно как играют, - кивнул в сторону зала Шаляпин.

К ним кинулись метрдотель, гардеробщик. Спустя минуту, словно вызванные по невидимому телеграфу, прибежали управляющий ресторана и какие-то служители.

- Ишь, чаевыми запахло, - буркнул Заикин. С Шаляпина почтительно сняли шубу, и гардеробщик, держа ее на вытянутых руках, понес куда-то, казалось, не дыша.

- Прикажете отдельный кабинет? - прыгал вокруг них управляющий и, не дожидаясь ответа, петушком ускакал куда-то.

Они вошли в зал, и головы всех сидящих как по команде повернулись к ним. Шум смолк точно по мановению волшебной палочки. Даже оркестр перестал играть. На мгновение воцарилась тишина. Ее прервали хлопки и крики музыкантов.

- Шаляпину - слава! - Урра, Федор Иванычу!

Публика подхватила. И в зале тотчас начался такой гвалт, что Шаляпин невольно поморщился.

Снова петушком подскакал управляющий и повел их куда-то через весь зал. Они шли, сопровождаемые восторженными криками и аплодисментами. Оркестр неожиданно заиграл "Вниз по матушке по Волге".

Шаляпин улыбнулся, поднял вверх руки, сплетенные в пожатьи.

- Благодарю вас, господа! - неожиданно воскликнул он. - От всего сердца!

Густой шаляпинский бас покрыл неистовый шум, и на мгновение снова наступила тишина. А потом крики возобновились с утроенной силой. Шаляпин кланялся направо и налево, пока за ними не захлопнулась дверь кабинета.

- Осчастливлены вашим посещением, Федор Иваныч, - восторженно бормотал управляющий, прижимая руку к сердцу. - Это, можно сказать, величайшая честь для нас. Почту за счастье

лично служить вам.

- Фу, - тяжело вздохнул Шаляпин, плюхнувшись в кресло. - И приятно и, как бы это выразиться, хлопотно, что ли. Все пальцами тычут...

- Ну, что будем пить-есть? Выбирай, Иван Михайлов, ты сегодня гость мой. А я ведь пить бросил. "Врачи грозят бедой!" - пропел он и засмеялся. Видно было, что к нему вернулось хорошее расположение духа.

Управляющий и метрдотель склонились над, ними вопросительными знаками. Потом оба бесшумно исчезли, чтобы через минуту так же бесшумно явиться с подносами, заставленными посудой.

- Так вот, я не досказал тебе, о чем мы толковали с Сандро Моисеи. Я сказал ему, что Кишинев навсегда останется в моей памяти. И вот почему: здесь именно сложилось мое, если можно так выразиться, артистическое мирозерцание.

В ту пору, когда я в первый раз приехал в Кишинев, моя певческая карьера помаленьку подвигалась к известности. Вечером в местном театре давали "Паяцев". Выступала какая-то заезжая труппа, довольно плохонькая, сборная. Я согласился спеть партию Тонио. В паре со мной пел тенор, помнится, в летах. Канио он был очень средний, но техничный и музыкальный.

Наступил его черед петь знаменитую арию... Эту, знаешь: "Смейся, паяц..." И вот, когда он заканчивал ее, в горле у него заклокотало, плечи затряслись. И. певец зарыдал... А публика начала... хохотать.

Я стоял за кулисами, дожидаясь своего выхода. Смотрю, шатающейся походкой через сцену бредет тенор. Слезы размыли дорожки на его густо загримированном лице. Зрелище, доложу, трогательное и жалкое вместе. Он продолжал рыдать, потрясенный ролью, просто не заметив или не обратив внимания на хохот публики.

И тут с моих глаз словно бы упала повязка. В тот миг я сразу охватил истинную сущность нашего искусства. Этот глубоко и

искренне потрясенный артист пожал хохот вместо сочувствия. Почему? Потому что он проливал настоящие слезы, слезы певца. Между тем это должны быть слезы Канио. Слезы того века, к которому относится Канио. А певец вовсе не должен плакать над своим чувством.

Я вышел из этого самого кишиневского театра словно бы обновленным. Федор Иванович откинулся в своем кресле и замолчал. Торопливо отхлебнул из стакана чай, забеленный молоком, и, помедлив немного, снова заговорил:

- Вот об этом случае рассказывал я Моисеи в номере венского отеля "Бристоль". Этим мне памятен Кишинев. После того я никогда не плакал, не страдал, не смеялся, не угрожал как Шаляпин, а только как тот герой, которого я изображал. Мы, артисты, должны держать в узде свои собственные чувства, чтобы они не захлестнули фигуру, которую играем. В эти минуты мы становимся как бы рядом с собой...

Заикин слушал молча, не прикасаясь к еде. Федор Иванович очнулся, искоса глянул на него.

- Заговорил я тебя, Иван Михайлов. Неужто интересно?

- Интересно. Я, конечно, не артист, но нечто подобное в жизни раз пережил. В Самаре было. Алексей Максимович посоветовал мне тогда разбойника Чуркина в цирке изобразить. Как он от царевых приспешников удирает, цепи рвет и железную клетку рушит. Стал я, значит, действие сие изображать. Чувствую: вхожу в роль. Охота мне по-всамделишному, понимаешь, жандармские рыла крушить, словно я и есть разбойник Чуркин... К полицмейстеру тогда вызывали: кто-де разрешил противу власти показывать, революционную агитацию разводить. Насилу отговорился. Мне эти полицмейстеры немало крови перепортили...

Шаляпин задумчиво помешивал ложечкой остывший чай.

Он помолчал, потом с горечью проговорил:

- Да, брат, отрезанные мы с тобой ломти. Худо это, ох, как худо. Написал я Горькому эзоповым языком, что тоскую по родной земле. А прямо просить- какая-то дурацкая гордость не позволяет.

Иван Михайлович шумно вздохнул:

- До чего ж охота родную Волгу поглядеть! Хоть одним глазком. Просторы заволжские, берега, где бечевою хаживал. Пропадаю я тут с тоски, Федор Иванович.

Барабаня пальцами по столу, видимо, волнуясь, Шаляпин убежденно произнес:

- Проситься надо назад, Иван Михайлов. Меня вот с Парижем слишком много связывает: дом, семья, дети. А ты что застрял тут один, как перст?

- Сказать по правде, все думаю, что поздновато мне сниматься с места. Стар стал, отяжелел. А потом, - Заикин покосился на дверь, - думаю, что не вечно быть Бессарабии под румынской пятой. Верю: вернется она под руку России.

- Быть по сему, - усмехнулся Федор Иванович. - А я все-таки буду проситься назад. Как блудный сын. Без родины искусство чахнет.

Оба тяжело поднялись и, провожаемые ресторанной свитой, пошли к выходу.

У выхода Шаляпин обнял Заикина.

- Прощай, Иван Михайлов, не знаю, даст ли бог свидеться еще, - грустно произнес Шаляпин.

Заикин молча поклонился ему в пояс. Оркестр играл что-то печальное. Так же, как давеча, пели скрипки, заставляя сердце сжиматься от неведомой боли.

Воскресший Заикин

Нет, судьба была явно равнодушна к нему, Заикину. Не казалось, что Дамоклов меч, висевший над его головой, уж и сорвался, и обрушился, и сокрушил. А на поверку выходило, что пресловутый этот меч продолжал висеть, как ни в чем не бывало.

...Ясный весенний день-одиннадцатое мая 1930 года - Иван Михайлович встретил в Ганчештах. Было воскресенье, и небольшое местечко гудело. Местные жители и крестьяне окрестных сел, привезшие на базар всяческую снедь, нетерпеливо ждали начала выступлений Заикина.

Густая пыль кисеей висела над площадью, где было раскинуто "рондо". Мычание волов, скрип каруц, крики ребятишек, гомон толпы - все слилось в оглушительный шум.

Билеты раскупались бойко: реклама сделала свое дело. "Феноменальный трюк, - надрывались добровольные глашатаи - подростки, которым был обещан бесплатный вход. - Человек под автомобилем! Живой мост! Выступает волжский богатырь, авиатор и атлет Иван Заикин!"

Наконец прозвучал гонг. Народу набилось столько, что яблоку негде было упасть.

Вот и коронный номер: "живой мост". Заикин лег. На него кладут прочные деревянные мостки: Сотни людей затаили дыхание. В напряженной тишине слышится лишь пофыркивание грузовичка да глуховатый голос Заикина, отдающего последние распоряжения.

Ждут зрители, ждет десятка смельчаков, вызвавшихся проехать по живому мосту. Наконец шофер осторожно стронул машину с места, и она на первой скорости начала взбираться на мостки.

Неожиданно раздался треск. Доска сломалась, и протекторы стали сдирать кожу на левой руке и ноге атлета. Зрители охнули, многие сорвались с места и кинулись на арену. Растерявшийся шофер остановил машину на распростертом теле Заикина.

Атлета спасло самообладание. Он напряг мускулы и благодаря

этому отделался незначительными повреждениями. Назавтра происшествие попало в газеты. "Кишиневский листок" и "Голос Бессарабии", оповестив читателей о случае в Ганчештах, сообщали, что Заикин чувствует себя хорошей не собирается отказаться от рискованного номера.

Атлет действительно не отказался. "Береженого бог бережет, - любил повторять Заикин. - А мне - на роду написано своей смертью помереть".

"Чемпион мира, волжский богатырь и авиатор Иван Заикин поднят с разmozженной головой".

"Гибель Ивана Заикина",

"Трагическая смерть величайшего атлета..." - такими заголовками пестрели газеты Румынии, Франции, Германии, Бельгии, Болгарии, Италии и других европейских стран.

Некрологи оплакивали Заикина. "Смерть Заикина тем печальнее, - писала одна из парижских газет, - что сам он избегал азарта, риска позерства и бравады. Все неожиданно в этой смерти: ее сцена, ее причина, ее внезапность..."

"Этот скорбный трагический конец, - вторила другая, - глубоко поразит и опечалит многочисленных друзей покойного, оставшегося до последней минуты своей жизни прекрасным русским человеком с большой и широко открытой душой ко всякому чужому горю и несчастью".

Но через день на первых полосах тех же газет, похоронивших Заикина, запестрели другие сообщения: "Заикин жив и находится в больнице в Плоештах", "Как произошло несчастье...", "Преждевременный слух о смерти Заикина..." "Голос Бессарабии" напечатал "Письмо от покойного Заикина".

"Глубоко сожалею о своих друзьях и спортсменах, которые получили ложные сведения о моей смерти. Обвинять в своем несчастье не собираюсь никого. Борец-авиатор Иван Заикин".

...Это случилось на Плоештском ипподроме 20 июля 1930 года. Иван Михайлович, как обычно, показывал при тысячном стечении народа силовые номера. "Король железа", которому в тот год

исполнилось пятьдесят лет, поражал зрителей все еще феноменальной силой.

В заключение шталмейстер объявил коронный номер:

- Сейчас волжский богатырь и авиатор Иван Заикин исполнит смертельный трюк: живой мост... Вес первой машины без пассажиров - 2200 килограммов, второй - 1300.

На импровизированную арену выехали, урча и дыша бензиновым перегаром, два грузовика. Подбежали коверные, держа в руках массивные доски.

Заикин спокойно улегся. Несчастье в Ганчештах не отрезвило его. Он твердо верил в свою звезду.

- Плотней кладите. Доска к доске. Так. Теперь скрепляйте. Да поживей! - командовал он, краем глаза следя за не слишком расторопными коверными.

- Прошу желающих из публики удостовериться, что все сделано без обмана, - выкрикивал шталмейстер. - Заодно и пассажирами будете, - подбодрял он тех, кто успел перескочить через барьер.

Охотников набралось больше двух десятков. Они расселись по машинам. И вот уже первый автомобиль въехал передними колесами на заикинский мост. Первой машиной управлял частный шофер. Он в точности следовал указаниям Заикина, благо хорошо знал русский язык и понимал, что от него требовалось. За рулем второй машины сидел военный шофер, молодой румын. Ивану Михайловичу пришлось объясняться с ним через переводчика. Оба нервничали - и Заикин, у которого не было выбора, и шофер-инструктор, и инструктируемый. "Я видел, как руки его дрожали на руле", - вспоминал впоследствии Иван Михайлович. Первая машина благополучно проехала по "мосту". Наступил черед второй. И вот она осторожно, будто пробуя колесами прочность помоста, продвигается вперед.. .

И тут произошло непоправимое. Газетный репортер, случившийся очевидцем несчастья, описывал его так:

"Естественно, что после прохождения первого автомобиля другой конец моста приподнимался приблизительно на метр. Надо было

выждать, чтобы он опустился, и тогда съезжать. Шофер второй машины растерялся и включил скорость, когда конец был на весу. Доски столкнулись. От сильного толчка мотор заглох. Машина стояла одним колесом на голове, другим на ступне левой ноги. Заикина подняли. Лицо его было обезображено. Кисть левой ноги болталась, точно привязанная на веревочке"...

На середину ипподрома хлынули люди.

- Ради бога, в больницу, - запекшимися губами выговорил Заикин и потерял сознание.

Могучий организм выручил его и на этот раз. Правда, несколько недель ему пришлось пролежать в лечебнице Шуллера.

Многочисленных друзей и почитателей атлета глубоко взволновало обрушившееся на него несчастье. В "Бессарабском слове" в те дни можно было прочесть характерное объявление: "Положение раненного И. М. Заикина поистине трагическое, так как он остался абсолютно без средств.

Редакция нашей газеты открыла подписку по сбору средств для оказания помощи И. М. Заикину. Мы уверены, что многие откликнутся на наш призыв, и И. М. Заикину будет сделана дорогостоящая операция".

Лежа на больничной койке, Иван Михайлович предавался размышлениям. "Нет, этот номер надобно оставить. Хватит испытывать судьбу: щадила она меня, щадила, а уж, видно, больше не станет. Счастье мое, что друзья не оставили в беде". Глаза его увлажнились -от нахлынувшего теплого чувства. Друзья атлета не оставляли забот о нем. На призыв газеты откликнулись сотни людей. В Кишиневе состоялся концерт, весь сбор которого предназначался в фонд помощи Заикину.

Наконец среди вороха писем, доставленного к нему в палату, обнаружилось одно, написанное знакомым почерком.

"Дорогой Иван!

Да, вот уж воистину была неделя воскресений. Похоронили тебя - выскочил. Похоронили Репина - жив. Похоронили Владимира Дурова - ожил. Больше всего радуюсь за тебя. Авось тяжкий опыт

отучит тебя класть голову под сталелитейный молот. У тебя же так много номеров, которые совсем легки, а на публику производят гораздо более страшное впечатление.

Посылаю тебе пока лишь 500 франков, которые достал с величайшим трудом. Пишу я теперь мало и дается мне работа далеко не с прежней легкостью. Да и то сказать: пишу я уже 40 лет с хвостиком, а самому мне третьего дня стукнуло 60 лет и, главное, некогда отдохнуть. Ты об этом никому не говори, ибо сообщаю тебе по дружбе, а не для полупочтеннейшей публики. Идут у меня переговоры с Америкой и Италией о переводе моих сочинений, 20 процентов за успех, 80 - против. Если удастся, - пришлю еще 500 сразу; если нет, буду присылать постепенно, что смогу - приема в два, три.

Выздоровливай поскорее. От всей души радуюсь, что ты хоть помят, но цел. Экий у тебя организм богатейший!

Целую тебя
твой А. Куприн".

"Нет, грех мне жаловаться на друзей, - умиленно думал Заикин, перебирая в руках письмо за письмом. - Писатель, гордость русского народа, а не оставляет меня, простого борца, своими заботами".

Он попросил доставить ему письма Куприна, хранившиеся дома. Соседи по палате перечитывали их, а Заикин шумно вздыхал, изредка прося повторить какое-нибудь место, чем-то особенно привлекшее его.

"Милый мой Ванюша, дорогой мой братик! Рад за тебя, что Румыния и Бессарабия тебя встретили по чести и достоинству. Напрасно только ты рассказываешь, что спас я тебя от слепоты. Спасло тебя твое трехжильное здоровье... тьфу, тьфу, тьфу, как бы не сглазить.

Переходить в румынское подданство? Ни за, ни против ничего сказать не могу. Лучше пережди некоторое время, если возможно, а уж тогда, если потянет, - переходи. И будешь ты тогда для меня не Заикин, а Заикинеску...

...Помнишь - ты мечтал об устройстве огромного питомника физической культуры, в государственном плане. Это только в России возможно и только в ней. Никакой Лебедев, тебе не соперник. А если попадешь в Атяшево, то и я к тебе переберусь. Будем под старость ловить рыбу, наезжать лошадок, сидеть по вечерам на крыльчке, курить из вишневых чубуков...

"Переходить в румынское подданство..." Вернувшись домой, а затем снова пустившись во все тяжкие кочевой циркаческой жизни, Заикин постоянно ощущал за собой чьи-то сторожкие глаза. Ему, русскому, не доверяли, он был чужаком, подозрительным элементом для властей.

Однажды его вызвали в полицейскую квестуру.

- Домнуле Заикин, - встретил его шеф, криво улыбаясь. - Я вынужден взять у вас подписку о невыезде.

- Веселая встреча, нечего сказать, - опешил Заикин. - Али я что-нибудь украл?

- Пока ничего не могу сказать. Мы получили предписание провести расследование, - сухо Ответил шеф.

Полицейскую тайну выболтали газеты. Под заголовком "Донос на Ивана Заикина" была опубликована заметка: "В кестуру полиции поступил донос за подписью борца Чернояну, в котором последний доводит до сведения полиции о том, что борец Заикин, разъезжая по провинции, занимается якобы антигосударственной пропагандой.

Кестор полиции назначил расследование. Вчера в полицию был вызван для допроса борец Чернояну, который подтвердил свой донос. У кестора полиции сложилось мнение, что донос борца носит характер мести. Чем закончится эта история - пока неизвестно".

- А точно, занимался я антигосударственной пропагандой, - развеселился Заикин. - Говорил, что в советской России борцов да артистов государство приголубило, заботится о них, а румынам на нашего брата наплевать. Еще говорил я, что рабочему люду там живется по-человечески и что Бессарабия - искони русская земля и

нечего насаждать тут румынские порядки. А что, разве не так? - вопрошал он с невинным лицом.

- Так-то оно так, только не надо было этого при Чернояну болтать, - назидательно говорил ему Свободин, постоянно ездивший с ним и бывший при нем чем-то вроде администратора.

- Зол он на вас, Иван Михайлович. Молодой, сильный, а вы его положили.

- А я еще повторю, - задорно выкрикнул Заикин. - Они из меня Заикинскую не сделают. Не таков я.

- Посадить могут.

- На казенном харче тоже не худо, - гоготнул Заикин.

Полиция повозилась с доносом, но, видно, побоялась тронуть атлета - слишком яркой фигурой он был и слишком шаткие обвинения на него возводились. И Заикин продолжал разъезжать по городам и весям Бессарабии и Румынии, кладя на лопатки молодых борцов.

В 1934 году старого, но еще далеко не одряхлевшего льва пригласили на гастроли в Ригу.

Здесь его помнили. Помнили его победы, его железную хватку, его непревзойденную технику, неукротимую волю к победе. Но мало кому верилось, что пятидесятичетырехлетний Заикин способен выйти победителем в единоборстве с молодыми, атлетически сложенными борцами. Рига во все времена была поставщицей первоклассных борцов для арены. И на этот раз против Заикина были выставлены закаленные бойцы, цвет латышского спорта.

Молодого Яна Лескиновича рекламировали как "лучшего мастера новейшей школы", "каучукового человека". "Иван с Волги против Яна с Двины", - кричали газетные заголовки.

Заикинские болельщики оставались в меньшинстве. Но тот не посрамил их ожиданий. Трижды он бросал своего молодого противника на ковер. Знатоки переглядывались.

- Блестящий крават.

- Изумительный передний пояс.

- Он в отличной форме.

- Стой, красавец, теперь не уйдешь, - тяжело дыша, бормотал Заикин, пытаясь дожать Лескиновича.

Увы, не те годы. И судьи, посоветовавшись, провозгласили ничью.

- Годков десять назад я бы показал ему где раки зимуют, - бросил Заикин своему секунданту. Лицо его выражало досаду.

Ловкий, изворотливый и гибкий чех Вавра - один из тех, на кого делали ставку организаторы чемпионата, - быстро сник в железных заикинских тисках. Он с трудом вышел на мост, рассчитывая продержаться, но старый боец неуловимо точным движением пригвоздил его лопатками к коврику. Такая же участь постигла немца Грина и многих других участников рижского чемпионата.

Это был последний взлет - богатырский взлет Заикина. Он устроил прощальный бенефис в рижском цирке.

- Эх, наддай! - озорно кричал он молотобойцу, дробившему камнями у него на голове.

- Трогай, - весело приказывал он двум дюжинам людей, повисшим на концах длинного рельса, лежавшего у него на плечах.

Газеты в захлеб писали о его победах. И во всех заметках чувствовалось одно - удивление. Удивление перед мощью этого редкого образчика человеческой породы, которого никто не отваживался назвать стариком. "Заикин борется весело. Неизменно чувствуется за ним сила, привыкшая побеждать", - писали рецензенты,

А Заикин думал про себя: "Надо уходить. Но только с поднятой головой, победителем". Это был его последний чемпионат.

В день, наполненный солнцем

Снова начались скитания по бессарабской земле. Началась цыганская жизнь циркового артиста. И хотя тешил себя Иван Михайлович мыслью, что по-прежнему утверждает он русскую силу и русский спорт, главным в чемпионатах, освященных его именем, было - деньги.

Хотелось поднакопить немного на черный день, а таким днем рисовалась старость, поначалу подкрадывавшаяся потихоньку, а теперь все чаще и чаще казавшая зубы. Он видел: коротали последние свои годы в нищете прежде всемирно знаменитые спортсмены. Порой находился богатый благотворитель, меценат, который из милости, из внимания к прежним заслугам, пристраивал одряхлевшую знаменитость на должность швейцара. И человек, которому когда-то кланялись в пояс, перед которым благоговели и которым гордились, сам кланялся теперь в пояс, сам благоговел перед господами, открывая им двери барского особняка, и те подчас совали ему в руку монетку. Такова была горькая изнанка буржуазного спорта.

Заикин панически боялся старости, одряхления. Он старательнее, чем когда бы то ни было, занимался физическими упражнениями. Перспектива протягивать руку на старости лет, как когда-то в юности, страшила его.

И снова и снова разматывались перед ним бесконечные километры бессарабских дорог - мощенных и пыльных, пустынных и людных, большаков и проселков. Снова и снова раскидывал он свое рондо в больших торговых селах и маленьких поселках, в портовых городах и на привокзальных площадях железнодорожных станций.

Его труппа то разрасталась - одолевали любители, то становилась куцей: порой сбегали даже "птенцы", которым докучала кочевая жизнь. Тем не менее охотники выступать пока находились. Заикин даже "разбогател": появилась радиола с зазывной музыкой. Затем

удалось приобрести по случаю настоящий брезентовый балаган с крышей и прочими удобствами. Теперь труппа волжского богатыря не зависела от капризов погоды.

Годы шли быстрой чередой, и Заикин, казалось, не замечал их бега за гастрольной суетой. Одно было заметно: публика постепенно теряла интерес к борьбе, особенно "чистая", городская. Приходилось кочевать по селам, где, как правило, больше двух представлений не дашь, хоть расплющись в лепешку. Третье представление уже не делало сбора. Подчас выручка не окупала денег, плаченных балагулам за перевозку имущества.

Иван Михайлович рядился с бродячими фокусниками, с жонглерами, и те вливались в его труппу: одному уже было не под силу тянуть на себе программу. Он стал выступать в последнем отделении, "на-закуску". Бельцы, Липканы, Хотин, Черновцы, опять Бельцы, Бендеры, Аккерман, Белград, Рени, Кагул... Казалось, этому не будет ни конца, ни краю.

- И когда вы, батя, угомонитесь? - пошучивали его "птенцы".

- Вот когда помру, тогда и угомонюсь, - серьезно отвечал Иван Михайлович. - Вы-то меня хоть и втрое моложе, на лопатки не положите. С одной смертью только, пожалуй, мне не совладать..

Близилось шестидесятилетие: наступил 1940 год. Иван Михайлович встретил его в дороге.

Все труднее становилось ездить. Бессарабию наводнили военные. Английские и французские офицеры катили по дорогам в запыленных автомобилях с румынскими номерными знаками. Унылые солдаты с крестьянскими лицами маршировали в сторону восточной границы. Там, по слухам, строились укрепления.

Надзирающие чины сигуранцы, жандармерии, префектур то и дело задерживали заикинцев под разными предлогами, особенно если их путь лежал в сторону границы.

Иван Заикин, человек без румынского гражданства, был тем не менее чересчур популярной фигурой. Его нельзя было так просто задержать или запретить ему выступать. Властям приходилось считаться с европейской известностью русского богатыря. До

самого последнего времени о Заикине вспоминали организаторы борцовских чемпионатов; Он успел побывать в Праге, Белграде, Виге. Груз лет не помешал ему одерживать победы над молодыми и подчас многоопытными борцами.

Скрепя сердце власти выдавали ему заграничные паспорта. Но теперь наступили такие времена, когда Заикину был закрыт путь даже в некоторые бессарабские города и местечки.

Он попробовал было жаловаться, но не получил ответа. Новая жалоба, полетевшая вслед за первой, тоже не высекла искры. Иван Михайлович понял, что чиновники, не пускавшие его в Бендеры, действовали по "высочайшему предписанию".

Королевская диктатура, задавившая и без того жалкие остатки "демократических свобод", находилась на выучке у бесноватого фюрера. Румыния взяла курс на фашизм, на войну.

Ивану Михайловичу казалось, что кто-то невидимый сдавил железными тисками грудь страны. Стало трудно дышать. По утрам, раскрывая свежие номера газет, Иван Михайлович читал заметки об арестах и запрещениях. Арестованы "коммунисты" и "московские агенты", запрещены профсоюзы, забастовки и стачки, партии левых направлений... Заметки такого содержания стали привычными.

- Едем в Измаил, - решил Заикин. - Может, там воздух чище: все-таки река Дунай велика. Готовь хозяйство, - приказал он Свободину.

Оборудование и реквизит отправили по железной дороге. Через два дня погрузилась в вагон и труппа.

Ехали долго. Простаивали на полустанках, пропуская задранные, зачехленные эшелоны с молчаливыми часовыми вместо проводников. "Странная война", замершая на франко-германской границе, кончилась. Немцы обрушились на Бельгию, Голландию, Францию. Пал Париж. Гитлер ломал комедию в Компьене. Наступили тревожные времена.

На сердце у Ивана Михайловича было беспокойно. "Неужто это только начало? Неужто пожар перекинется и сюда?" - размышлял он со все возрастающей тревогой. Гнал от себя эти мысли, а они

возвращались - упорные, навязчивые. Они будоражили всю дорогу и с новой силой охватывали его тогда, когда мимо окон проносился воинский эшелон с молчаливыми, неулыбчивыми солдатами и щеголями-офицерами.

Иван Михайлович стал плохо спать. Упорно глядя в потолок, он перебирал свою жизнь, вспоминал друзей. Их ряды редели. Александр Иванович Куприн осуществил, наконец, свою мечту: вернулся на Родину, все простившую и не помнившую зла. Он покоится в родной земле. Ушли из жизни многие его друзья и соперники по борцовскому ковру, и на спортивном небосклоне засияли новые звезды. Долго ли осталось царствовать ему, "королю железа"? Быть ли ему до конца дней обломком родной земли? Еще несколько месяцев, и надо будет справлять шестидесятилетие, подводить итоги. Какими они будут, эти итоги?.. Сорок лет он не знал поражений на арене. Нет, знал. Тезка его, Иван Поддубный, единственный, кто честно припечатал его лопатками к ковру. Жив и здоров Поддубный, как говорят, еще в силе.

...В Измаил поезд пришел утром. Свободин, выехавший на день раньше, встречал их на вокзале.

- Порядок, Иван Михайлович. Место абонировано, афиши расклеены, сборы будут, - доложил он.

- Нешто и сборы гарантированы? - усмехнулся Заикин. - Смотри, какой пряткий: Измаил покорил. Суворова, небось, на том свете завидки берут.

- Ждут вас, Иван Михайлович, - уверял Свободин. Затем, оглянувшись и понизив голос, сказал:

- И тут полным-полно вояк. В порт кораблей нагнали, мониторов разных, катеров. Два дня назад, говорят, облава была. Шпионов каких-то искали - не то немецких, не то турецких, не то советских...

- Пуганая ворона куста боится, - односложно ответил Заикин. И непонятно было, кого он имеет в виду под этой самой "пуганой вороной".

- - Ох, беспокожно мне, Иван Михайлович, - бормотал Свободин, - как бы не случилось чего...

- Я счастливый, - хлопнул его по плечу Заикин, да так, что щуплый администратор присел. - Почитай, шесть раз меня хоронить собирались и поминки заказывали, а я вот - живой. Держись рядом- не пропадешь. Думаю, еще не раз смерть об меня зубы обломает.

Несмотря на ранний час, в городе было многолюдно. Один людской поток тек на базарную площадь, другой вытекал оттуда. В кошелках дремали встрепанные куры, видимо, смирившиеся с ожидавшей их судьбой, зеленели бокастые капустные кочаны, румянились яблоки... Покачиваясь, брели красавцы-волы, глядя вокруг величественно и равнодушно; суматошно верещали поросята, гоготали гуси... Вся эта утренняя симфония Измаила была густо сдобрена певучей украинской речью, к которой изредка примешивался русский, а еще реже - молдавский говор.

Картина дышала миром. И как-то даже не верилось, что где-то, в тысячах километров отсюда, ухают пушки, раздаются взрывы бомб - гремит другая симфония - симфония войны, смерти и разрушения.

Иван Михайлович бывал в Измаиле - и не раз. Ему по душе пришелся этот маленький город, где привольно звучала русская речь и где все было полно реликвиями ратной славы русского народа. И как ни старались новые "хозяева" вытравить эти воспоминания, город жил ими и гордился.

Утро выдалось ясное, теплое, предвещая жаркий день. Свежий ветерок дул с Дуная, принося с собой запахи рыбы, смолы - целый букет запахов, острых, будораживших обоняние.

В небольшой гостинице было пустынно. Их встретил сам хозяин и, кланяясь, провел в комнаты. Заикину был предназначен "луке" - как усердно подчеркивал хозяин. "Луке" оказался двумя небольшими комнатками с пыльными неопределенного цвета портьерами, фикусом и подслеповатым зеркалом, в котором едва отражались пышная двуспальная кровать, круглый стол и гравюра "Взятие Измаила" бог знает какой древности, густо засиженная мухами. Иван Михайлович скептически оглядел все это гостиничное великолепие и вздохнул. Луке так луке- в конце

концов все равно, было бы где голову преклонить.

Оставив чемодан, он решил немного прогуляться до завтрака. Прошло каких-нибудь полчаса, а уж городок словно вымер. На улицах не было никого, кроме мальчишек, по обыкновению глазевших на него с раскрытыми ртами да равнодушных ко всему собак.

Иван Михайлович шел к Дунаю, к пристани. Да, постарался Свободин: афиши с его портретом белели буквально на всех перекрестках. "Волжский богатырь в дунайского перекрестился", - внутренне усмехнулся Иван Михайлович, быстро шагая к реке. А что: богатырь Волги и Дуная - звучит неплохо...

Домики неожиданно разошлись в стороны, словно выказывая почтительность будущему дунайскому богатырю, и взору открылось величавое зеркало реки. Казалось, это широченная улица, на которую вдруг перебрался Измаил: так оживленно было на реке. Лодки и лодчонки, парусники и моторки торопились в разные стороны по своим делам. Серые, неуютные "утюги" мониторов приткнулись к пристани. Рядом с ними, будто грудные младенцы, покачивались катера. Орудия были расчехлены, и около них, словно игрушечные, выплавленные из олова, стояли румынские матросы.

Картина была живописна, но эта живописность не радовала глаз, а будила беспокойство. Заикин в сердцах сплюнул и повернул к руинам крепости. "И чего ершатся, завоеватели, - сердито думал он. - Глядели бы почаще на камни эти да старину вспоминали бы..."

Время и войны порядком потрудились над некогда грозным сооружением. На месте надвратных башен и стен лежали груды камня. Уцелевшие глаза бойниц глядели уныло и совсем не грозно, может быть, потому, что всюду кустилась чудом прилепившаяся зелень, точно волосы, лезшие из ушей и ноздрей дряхлого старца.

Иван Михайлович обошел развалины и уселся на растрескавшийся мшистый камень, видно, обломок крепостной стены. Зеленая ящерица пугливо прошмыгнула у самых его ног и исчезла - растворилась в траве. Над рекой плыли облака, и суда,

бороздившие воду, казались их отражением.

Солнце всползло все выше и выше, выпарив прохладную свежесть утра. Становилось жарко, и Заикин, поднявшись, зашагал в город. Беспричинная тоска овладела им, а в такие минуты он становился угрюм, колюч и придиричив. "Кто я? - в который раз вопрошал он. - Шесть десятков лет за плечами, вроде бы и славы добился, а кто здесь считается с ней, с этой славой? Кому я нужен здесь, на чужой земле? И что ждет меня через десяток, лет? Смерть под забором?"

И опять он остро позавидовал Поддубному. Ему уже минуло семьдесят, государство назначило персональную пенсию, наградило орденом... Сам Калинин на грудь прицепил. "Приезжай, поборемся, - шутливо предлагал ему Иван Максимович в одном из писем. - Хотя я и постарше тебя буду, а на лопатки положу как пить дать..."

"И положит, чертяка", - хмуро думал Заикин. Поддубному все было ясно, все видно. Ему нечего было бояться старости, как боялся ее Заикин. Можно было бы, конечно, продать свою гордость, свою совесть русского человека за благодеяния короля. Еще полтора десятка лет назад король Фердинанд, смотревший его выступление из своей ложи в Бухарестском цирке, подослал какого-то придворного фёрта с комплиментами.

Мысль, что он даже в самые трудные минуты своей жизни оставался верен Родине, не поддавшись соблазнам сытой жизни и мимолетному искушению, наполнила его радостью.

Он шел по вымершим улицам городка, все убыстряя шаг. Хлопали ставни, как перед грозой, - обыватели спасались от жары. Все живое попряталось в тень, и редкие прохожие совершали перебежки от дерева к дереву.

В "луксе" было прохладно, и Иван Михайлович с наслаждением растянулся на скрипучей кровати. Надо было убить время. Он успел уже привыкнуть к монотонным, до удивления долгим будням этих Маленьких городков и местечек, где каждый ной день ничем не отличался от предшествующего и наверняка ничем не будет

отличаться от будущего, где, казалось, люди и дома, и даже собаки похожи друг на друга как две капли воды.

Он рассчитывал, что в Измаиле можно будет дать десять-двенадцать представлений от силы, пока сборы совсем не упадут. И тогда придется переключиваться на другое место, может быть, в Рени, а может, в Вилково, словом, куда-нибудь по соседству, чтобы переезд обошелся дешевле. Заикин никогда, даже в самые нищенские годы свои, не был скопидомом. Но теперь он все чаще занимался подсчетами, порой мелочными, все чаще ограничивал расходы - и свои, и труппы. И вот ровной чередой потянулись эти похожие друг на друга дни. Иван Михайлович работал без всякого подъема, как автомат кланялся публике, выходя на вызовы, как автомат ел, спал, делал свою привычную разминку, совершал утренние прогулки на берег Дуная, купался... Все тот же пейзаж с величавыми, оправленными в зеленый багет садов берегами, серыми уютными военных кораблей, Дунаем - улицей лодок и лодчонок, открывался ему день за днем. Во время одного из представлений случился конфуз. Железная балка не поддалась, и Заикин, побагровев от натуги и душившей его бешеной ярости, потерял равновесие и упал на опилки.

С минуту он лежал в ошеломлении, словно раздавленный этой самой балкой, которая за день до этого легко поддавалась его усилиям. Набрякшие от натуги глаза слезились. Сквозь мутную пелену проглядывались какие-то люди, подскочившие к нему и силившиеся поднять обмякшее тело "короля железа". Люди что-то участливо говорили ему, но он не понимал слов: все было как в тумане. Ему полегчало, когда кто-то догадался sprysнуть его водой, а на голову легло мокрое полотенце. И сразу иглой пронзила мысль: "Неужто надорвался?!" В тесной комнатухе - "артистической уборной", в которой толпилась вся труппа, Иван Михайлович окончательно пришел в себя. Он привстал с жесткого топчана и виновато улыбнулся.

- Вот, братцы, какая докука вышла: знать, кончаются мои годы.

Все наперебой стали его утешать. Но он только махнул рукой и

уронил голову на грудь.

Вышел Свободин и объявил, что из-за внезапной болезни волжского богатыря и чемпиона мира Ивана Заикина его выступление отменяется.

- Представление продолжается! - бодро выкрикнул Свободин, и из репродуктора полилась веселенькая мелодия.

"Представление продолжается... Без меня", - с грустью подумал Иван Михайлович и нетвердой походкой поплелся к выходу.

Вызвали врача, кажется, единственного на весь город. Он, маленький и щуплый, облазил всего Заикина, непрерывно охая и изумляясь.

- Ничего, милейший мой Атлант, не нахожу, - развел он руками. - Сердце такое, что может позавидовать двадцатилетний. Вероятно, понервничали, потеряли душевное равновесие. Рекомендую отдохнуть денек-другой, а там можете продолжать за милую душу.

Тотчас повеселевший Заикин проводил врача к выходу, сунул ему бумажку в пятьсот лей и так пожал руку, что доктор охнул и съезжился.

- Приходите, батюшка доктор, со всей семьей хоть на каждое представление. Прикажу вам места оставлять.

- Благодарю, почтеннейший мой Геркулес, но только предпочту сидеть дома.

Заикин недоуменно вскинул брови. И врач, перейдя на полупшепот, пояснил:

- По-моему, назревают какие-то серьезные события. Невиданное дело - войска заполонили весь город За последние пятнадцать лет такого не помню. Когда было восстание в Татарбунарах, у нас ввели осадное положение. А с той поры тихо. И вдруг такое. Это, милейший, заставляет насторожиться...

Врач, откланявшись, ушел, а Заикин возвратился а комнату, раздумывая над его словами. Только теперь. он вспомнил, что под брезентовым куполом последний раз было чересчур много военных, особенно румынских моряков. Но тогда он не придал этому значения, наоборот, рад был аншлагу, обилию незнакомых

людей, которые смогут оценить его, Заикина, неубывающую силу на пороге седьмого десятка.

"Нешто война? Подобралась, значит", - подумал он, беспокойно шагая из угла в угол. Он отогнал от себя пугающую мысль, выпил какие-то остро пахнущие капли, прописанные доктором, и, завалившись на кровать, почти тотчас же уснул мертвым сном.

Разбудило его солнце. Комната вся была полна им.

Светились и сияли в его благостных лучах никелевые шары кровати, желтый стеклянный графин, стоявший на столе, и даже тяжелые пыльные портьеры. Заикин вытащил из-под подушки большие карманные часы - подарок его поклонников - и щелкнул крышкой. Стрелки показывали шесть.

Ощущая во всем теле какую-то удивительную легкость, Иван Михайлович быстро оделся, схватил полотенце, сверток с завтраком, приготовленный накануне, он поспешил на реку.

Город медленно просыпался, осиянный щедрыми лучами встававшего солнца, обласканный утренней свежестью и словно отмытый и приукрашенный самим утром. Иван Михайлович миновал последнюю улицу, за которой сразу открывался вид на Дунай, и остановился, пораженный.

Над зданием порта полыхало огромное красное полотнище. Красные флаги реяли на кораблях. Солнце высветило их с пронзительной резкостью, и казалось, что на флагах навечно остался след его багрового диска.

Приглядевшись, еще не веря своим глазам, Иван Михайлович заметил, что в порту стоят не те корабли, которые толпились там накануне. Только теперь он вспомнил про какие-то листки, белевшие на заборах.

Чувствуя, как бешено колотится сердце, он кинулся назад, в город. У крайнего забора толпились люди.

"Читают", - подумал Иван Михайлович и стал лихорадочно шарить по карманам, ища очки. "Так и есть - забыл!" - с отчаянием подумал он.

Расталкивая людей, он пробился к листовке, приклеенной криво,

видимо, наспех.

- Кто грамотный - читай громко, чтобы всем слышно было! - властно приказал он.

И, повинувшись, один из стоявших стал читать:

"Граждане освобожденной Бессарабии! 22 года население Бессарабии, кровью своей завоевавшее наряду с другими народами бывшей царской России свободу, стонало под игом белорумынских захватчиков. Разоренное, обездоленное население с завистью глядело на тот берег, где в дружной борьбе за мир и счастье работали наши братья.

22 года жили люди светлой надеждой на будущее и боролись за него в застенках тюрем.

Сегодня будущее, о котором мечтали, становится настоящим. Сегодня, когда над нами грозно нависла война, когда королевская диктатура готовилась затянуть петлю на шее народов Румынии, сегодня наши братья по крови и борьбе протягивают нам руку помощи..."

У человека, читавшего листовку, неожиданно перехватило в горле. Он глотнул воздух, обернулся, и широкая улыбка озарила его лицо. И все вокруг, дотоле молчаливо, сосредоточенно слушавшие, вдруг задвигались, заулыбались, сначала нерешительно, будто еще не веря услышанному, а потом все свободнее и радостнее.

Щуплый подросток, стоявший и слушавший вместе со всеми, разом сорвался с места, кинулся на шею Заикину и повис на нем, горланя:

- Ура!

Иван Михайлович засмеялся и крутнул парнишку вокруг себя. Его выкрик был искрой, попавшей на горючий материал. Вокруг забушевали возгласы:

- Ура Красной Армии!

- Да здравствует Советский Союз!

Радость и волнение охватили людей. И они, до той поры топтавшиеся на месте, искавшие выхода своим чувствам, стали обниматься, восторженно кричать, хлопать в ладоши. Потом все

бросились бежать: одни в город, другие к пристани.

Этот жаркий июньский день - 28 июня 1940 года - был накален человеческой радостью. Люди не замечали жары. Они словно бы сами несли в себе солнце. Только поздно вечером Иван Михайлович, втянутый в водоворот этого народного ликования, пробился, наконец, к брезентовым стенам своего балагана. Он нашел там одного Свободина. Тот, завидя Заикина, облегченно вздохнул и укоризненно произнес:

- Вот, а вам доктор лежать велел. Мы весь город обегали, переволновались. Да разве в такой буче человека сыщешь?..

- Да разве можно в такой день усидеть на месте? - в тон ему заметил Заикин. - Эх ты, сухарная душа. Чувствовать надобно! - выкрикнул он. Глянь: народ, как Волга, растекся - широко, привольно. Все бурлит, все кипит, все радуется.

Свободин, округлив глаза и понизив голос, сказал:

- Тут до вас советский начальник приходил. Спрашивал, где вы и будете ли давать представления.

- Ну, а ты что? - нетерпеливо перебил его Заикин.

- Ответил, вестимо, что больны и доктор запретил" выступать.

- Эх, одно слово - сухарь! - в сердцах Заикин даже сплюнул. - Буду выступать. Весь день завтра буду!

На следующий день Иван Михайлович разыскал коменданта города. Им оказался высокий плотный моряк лет эдак пятидесяти или около того, совершенно седой, но моложавый и подтянутый.

- Заикин, экс-чемпион мира по борьбе, артист, - представился Иван Михайлович. Комендант неожиданно широко улыбнулся и обрадованно потряс протянутую ему руку.

- Знаю, уважаемый, многое о вас знаю. Экое счастье, что судьба свела нас здесь. Я ведь мальчишкой вам поклонялся, Иван Михайлович. Была у нас одна игра - в Заикина и Поддубного.

Иван Михайлович просиял. И разговор, о котором он мучительно думал все утро, к которому готовился и которого чуть побаивался, - вдруг скажут, что он-де какой-нибудь там невозвращенец, - потек сам собой, - свободно и легко.

- Я ведь вас пошел разыскивать, как только увидел афиши в городе, - блестя глазами, говорил комендант. - Признаться, не думал, что вы еще выступаете. В моих воспоминаниях вы - как легенда детства.

- Вот, держусь пока, бог даст, еще несколько лег протяну. Силой не обижен, не обделен - не сглазить-бы. - Сколько же вам, Иван Михайлович?

- Да вот, ноне шестьдесят стукнет. На лице моряка в командирском кителе ясно читалось сомнение.

- И что же вы - силовые номера показываете?

- А как же! Как был королем железа, так и досель величают. Чай, на афишах видели. Могу тут же и показать.

Заикин круто повернулся и зашагал к выходу. За ним, горя любопытством, двинулся комендант.

Во дворе, где прежде находилась примария, а теперь разместилась временная советская комендатура, было оживленно. Здесь расквартировался артиллерийский дивизион.

Батарейцы выпрягли сытых коней из запряжек. Пушки были зачехлены, возле них размеренно шагала часовая. Остальные красноармейцы расположились в садике и занимались кто чем. Гармонист растягивал меха, наигрывая какой-то несложный мотив.

- Прикажете подвести сюда две парные запряжки, - попросил Заикин. Комендант кликнул старшину. Тот, недоуменно вскинув брови, повторил приказание, и вскоре перед ними стояла четверка крупных буланых коней. Подошли заинтересованные красноармейцы, гадая, что будет дальше.

Иван Михайлович скинул рубашку, обнажив атлетический торс, поплевал на руки и, крепко ухватив деревянные вальки, скомандовал:

- Ну-ка, гони в разные стороны.

Из толпы резво выскочили два батарейца и принялись погонять лошадей. Кони рванулись в стороны. Из-под копыт полетели сухие комья земли. Заикин побагровел от напряжения, но стоял, как влитой, раскинув руки.

- Погоняй пуще! - хрипло крикнул он. Воцарилась напряженная тишина.

Испуганные кони храпели, вставали на дыбы, но не могли тронуться с места.

- А теперь оглаживай. Будет. А то найдет на них порча, - хрипло приказал Заикин. И батарейцы взялись за уздцы. Приговаривая одним им ведомые слова, - они успокоили лошадей и отвели упряжки в стороны.

Вокруг кипело восхищение. А Иван Михайлович, оглядевшись, заметил у забора ржавую железную балку. Подошел к ней, вскинул на плечи и, крикнув, надавил руками.

Люди зачарованно глядели, как балка медленно сгибалась, осыпая коричневые лепестки ржавчины.

- Хватит, - выдохнул Заикин. - Плечи натружу без лямки. И легко, точно соломинку, скинул балку к ногам.

- Ось, який Муромец! - восторженно выкрикнул молоденький красноармеец. - Качать его!

- Качать! - подхватила толпа. И вот уже, бережно подхваченный десятками рук, Заикин взлетает над головами.

- Уф, тяжелый, упарились, - посмеивались батарейцы, опуская атлета на землю. Из уст в уста, как эстафета, как визитная карточка, передавалось "Иван Заикин, чемпион мира".

К нему подошел комендант. Он не скрывал своего восхищения. Восхищения и изумления.

- Это, знаете ли, феноменально. Другого слова не нахожу. В шестьдесят-то лет... - И комендант развел руками.

А Заикин, все еще тяжело дыша, ответил с добродушной усмешкой:

- Волга-матушка силой налила. Из бурлаков я... Он странствовал целый день. Был на кораблях, изумляя матросов, крутил "карусель" на площади. На концах бревна висла дюжина пехотинцев, а ротный баянист наигрывал вальс.

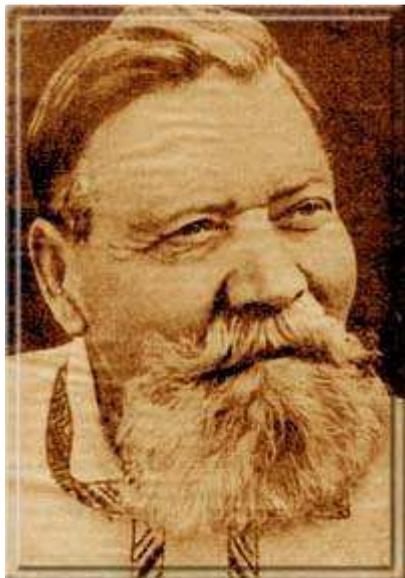
Вечером состоялось представление. Свободин и другие "заикинцы" пробовали его урезонить, напоминали о врачебном

запрете. Но Иван Михайлович только усмехался в ответ:

- К родной земле припал я, братцы. К родной земле! В ней - моя сила!

Последние годы

И все-таки война, зловеще топтавшаяся у самого порога, обрушилась на страну.



На рассвете в Кишиневе ухнули первые разрывы бомб. Спросонья Иван Михайлович решил, что надвигается неистовая летняя гроза.

Пробуждение было горьким. Бесконечные молчаливые вереницы беженцев тянулись по дорогам. Люди шли на восток. А на запад двигались воинские эшелоны, мчались запыленные грузовики. По обочинам, лязгая гусеницами, неслись танки, обретшие, казалось, не свойственную им стремительность.

Снова Молдавия стала землей на пути всех бед. Теперь ее, не успевшую еще как следует вздохнуть, расправить плечи после двадцатидвухлетнего хозяйничанья королевской Румынии, раздирали оголтелые фашистские орды.

Город словно обезлюдел. Все попрятались куда-то. Жизнь поплелась черепашьям шагом - жизнь в неволе, в заточении. Тюремщики не кормили своих уз-ликов. Больше того: они отбирали все для нужд "тысячелетнего рейха".

Заикин почти не выходил из дому. Первое время перебивались с хлеба на квас тем, что удалось запасти. А когда припасы иссякли, Иван Михайлович стал помаленьку расторговывать единственные драгоценности, которые у него были, - чемпионские медали.

Широкая муаровая лента, усеянная созвездиями золотых и серебряных медалей и жетонов, кормила семью все эти черные годы. Сначала мало-помалу исчезли золотые звезды, потом стали стремительно редеть ряды серебряных.

Заикин ослабел и физически и духовно. Сидячая однообразная жизнь подтачивала силы, укорачивала дни. Он стал угрюм и необщителен. Порой Ивану Михайловичу казалось, что опустошительной войне не будет конца и собственный дом станет ему вечной тюрьмой.

В город скупно просачивались вести: гитлеровцам дали по зубам под Москвой. На Волге. Под Курском. На Северном Кавказе... Фашистская военная машина трещала по всем швам. И скоро огневое дыхание боев снова опалило Кишинев.

Грозовые раскаты надвигались с востока. Это была очищающая гроза. Стало легче дышать, и Иван Михайлович повеселел, задвигался. Впервые после долгого перерыва в комнатах маленького дома зазвучал его смех - добродушный, раскатистый, как встарь.

Над старинной аркой на площади Победы снова развевалось Красное знамя. Кишиневцы поздравляли друг друга с освобождением. Массивная фигура Заикина с неизменной тростью замелькала на улицах. Старожилы почтительно здоровались с ним.

- Ишь, как вас припорошило, Иван Михайлович. Точно снегом.

Заикин озорно вскидывал голову, увенчанную седой копной волос.

- Не на балу, чай, были, поседеешь. Зато седина в бороду - бес в ребро. Я вроде бы помолодел, чуete? - и, многозначительно подняв палец, заканчивал:

- Супротив русской силы никому не выстоять. Нигде - ни на бранном поле, ни на борцовском ковре. Нигде!

И, высказав это, молодо, задорно засмеялся.

"Восстановим родной Кишинев!" - звали надписи на обгорелых стенах домов, на каменных заборах, изрешеченных осколками, словно оспинами. Израненные здания обросли лесами. Жизнь входила в свою колену. Она была нелегкой, эта жизнь, в первый послевоенный год. Но все трудности постепенно отступали перед дружным напором людей, истосковавшихся по мирному труду.

Мало-помалу стал оживать и стадион "Динамо". После рабочего

дня сюда собиралась молодежь. Убирали мусор, разбивали спортивные площадки. Спортивная жизнь брала старт.

1945 год был для Заикина вдвойне юбилейным. Ему исполнилось 65 лет. Свое 60-летие отмечала русская тяжелая атлетика. Шесть десятилетий назад в Петербурге врач В. Ф. Краевский организовал первый в России "Кружок любителей тяжелоатлетического спорта". В 1904 году, как помнит читатель, двадцатичетырехлетний Иван Заикин выиграл первый приз и звание чемпиона России по поднятию тяжестей.

Устроители празднования вспомнили, что жив один из первых российских чемпионов. В Кишинев полетела телеграмма, приглашавшая старого атлета в Ленинград, на юбилейные торжества.

Почти сорок лет назад он, дворник господ Меркурьевых, катил из Царицына в Петербург на тяжелоатлетические соревнования. Тогда судьба свела его с созвездием замечательных русских атлетов - Поддубным, Лурихом, Елисеевым, Элкснитом и другими.

Много воды утекло с тех пор. Из тогдашних его соперников в живых остался только Поддубный - старый друг, "чемпион чемпионов". С ним-то после-долгой разлуки предстояло Ивану Михайловичу встретиться в Ленинграде, там, где по существу взошла спортивная слава двух "Иванов великих".

...Друзья обнялись и долго не отпускали друг друга. Оба прослезились. Слишком много напомнила им эта встреча в невольской столице: незабвенные годы юности, радость первых побед, первой славы...

Ветеранов окружила молодежь. Их торжественно усадили в президиум. Гром рукоплесканий потряс своды цирка, когда председательствовавший объявил, что слово предоставляется многократному чемпиону мира, и России Ивану Михайловичу Заикину.

- Я хочу пожелать нашей смене - молодым борцам, тяжелоатлетам и, добавлю, авиаторам - крепить спортивную славу Родины, не щадя сил отстаивать ее честь, как мы - старое поколение русских

спортсменов. Будьте всегда первыми. Быть первыми - традиция русских людей и русского спорта. Вот вы и не отступайте от этой славной традиции.

Не один раз напутствовал потом Заикин спортивную молодежь. До конца дней своих он не порывал связей со спортом. Ученики Ивана Михайловича - Петр Горбач, Валентин Становский, Леонид Добровольский, Сергей Орлов и другие стали первыми в республике тренерами по борьбе. Заикин бывал на занятиях, советовал, подсказывал, судил.

Порой, увлекшись, он начинал рассказывать о делах минувших. Иван Михайлович был замечательным рассказчиком, самобытным мастером живого слова, метких характеристик. Его речь была пересыпана образными сравнениями, поговорками, а память цепко хранила интересные эпизоды славного прошлого русского спорта. И нередко тренировки заканчивались поздно вечером в Заикинском доме: тренеры и борцы бережно рассматривали пожелтевшие от времени афиши, вырезки из старых газет, фотографии полувековой давности. Квартира Заикина была своеобразным музеем истории русского спорта, а ее хозяин - живым свидетелем и участником его триумфов.

В 1947 году молдавская команда впервые приняла участие во Всесоюзном первенстве по классической борьбе. И то, что этот дебют был удачен, можно считать заслугой Ивана Михайловича Заикина. В конце этого же года состоялась последняя поездка Заикина по Молдавии. На этот раз старый атлет был посланцем Комитета по физкультуре и спорту. Вместе с ним в поездку отправились москвичи-неоднократные чемпионы Советского Союза и мира Александр Мазур и Александр Сенаторов, а также бессменные "заикинцы". Иван Михайлович был старейшиной, почетным руководителем этой бригады.

Последняя поездка... Заикин жадно оглядывал места, где некогда странствовал со своими птенцами. Теперь он ехал пропагандировать спорт, борьбу, звать молодое поколение закалять свои мышцы и тело, закалять волю к победе...

Бригада спортсменов останавливалась- в городах и местечках, и тотчас же их окружала толпа. Как встарь, от дома к дому летела весть: Заикин приехал. Казалось, годы остановили свой стремительный бег, и старая слава - слава "короля железа", одного из самых сильных людей мира, - вновь обретала крылья.

Все наперебой зазывали Заикина к себе. Каждому было лестно перемолвиться с ним словцом, посидеть за одним столом. Иван Михайлович был растроган: его помнили, его любили, им гордились. Голос его чуть дрожал, когда он обращался к молодежи с напутственными словами:

- Нам, старому поколению русских спортсменов, приходилось жить и работать в трудных условиях: царское правительство не обращало никакого внимания на физическое и нравственное воспитание молодежи, держа народ в темноте и невежестве. Вы - будущие строители новой жизни. А чтобы по-настоящему участвовать в большой созидательной жизни народа, нужно быть не только грамотным и высококультурным человеком - нужно быть сильным, крепким физически. Любите труд. Не гнушайтесь никакой работы. Помните: труд облагораживает человека...

Последняя поездка... Спустя год, 22 ноября 1948 года, Ивана Михайловича Заикина не стало.

Родина - страна богатырей - бережно хранит память о своем могучем сыне. Легион наследников его славы уверенно, позаикински шагает дорогой побед на мировой спортивной арене.